

РИЖСКИЙ альманах

РА 3

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
ОБЗОРЫ
ПЕРЕВОДЫ
КРИТИКА

№ 3 (8)



ЛОРК, Рига, 2012

УДК 821.161.1(082)

Р 497

Издается при поддержке Латвийского фонда
капитала культуры

Редакционная коллегия:

Е. Матьякубова

Вл. Новиков

Т. Зандерсон

Гл. редактор и составитель: Ирина Цыгальская

Корректор Алексей Герасимов

Дизайн и макет Виктории Матисон

ISBN 5-86830-092-0

ЛОПК, 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

КОНТЕКСТ

Людмила Нукневич Теребите меня, дразните. „Rīgas Laiks”, русское издание	5
Владимир Френкель «Из той реки». О сборнике стихов В. Дозорцева	11
Наталья Большакова Альманах «Христианос» – место Встречи	16
Игорь Трохачевский Привет от Егора Летова. РОковое эссе	21
Игорь Шуваев Опасность недоразумений. О книге эссе С. Морейно	24

ПОДТЕКСТ

Марис Чаклайс Фрагмент из незаконченной книги	27
Гарри Гайлит Птица феникс с моноклем на черном шнулке	42
Юлия Александрова Петьки на даче. Исторический экскурс	51
Дзидра и Виктория Тубельские «...песок и море». Мемуары о Доме творчества в Дубулты	59

ТЕКСТ

Роальд Добровенский. То-сё. Стихи	74
Елена Копытова. «Как пепел с сигареты...» Стихи	80
Ирина Цыгальская. Царица. Повесть	84
Инга Гайле. Пирожница Мария. Стихи	110
Евгений Орлов Из циклов «Берег солнца» и «Песенки Фауста». Стихи	114
Людмила Метельская. 9 x 12. Миниатюры	118

Владимир Новиков. Ах, море, море. Рассказ	125
Павел Васкан. На берегу. Рассказ	137
Григорий Гондельман. «обрывки снов». Стихи	140
Алексей Герасимов Из цикла «Красное, зеленое: тюльпан». Рассказ.	144
Игорь Трохачевский Из цикла «ЧистОчки». Рассказы	151

Имант Аузинь. Прощальные слова	156
Людмила Азарова. Стихи и переводы	159
Павел Тюрин Его нет больше с нами. О кончине Павла Тихомирова	163
Памяти Леонида Черевичника: Письма О. Николаевой, Р. Тименчика, Вл. Френкеля	166
Олег Золотов. Анне (неопубликованное стихотворение)	172

Проект «Бывшие рижане»:

Эдгар Гринштейн. «пространство без грима». Стихотворения 1987 – 90 г.г.	173
Ольга Николаева. «Среди огня». Стихи	177

Борис Равдин Сергей Радлов – к постановке Рижской биографии	180
---	-----

Литературные новости	203
Сведения об авторах	205

ЛЮДМИЛА НУКНЕВИЧ

ТЕРЕБИТЕ МЕНЯ, ДРАЗНИТЕ...

*Заметки для личного пользования по случаю выхода в свет
русского варианта журнала Rīgas laiks*

- На что мне безумцы? – сказала Алиса.
- Ничего не поделаешь, – возразил Кот.
- Мы все здесь не в своем уме – и ты, и я.

Л. Кэрролл

Минувшей весной вышло в свет первое на русском языке издание журнала Rīgas laiks, так и обозначенное – «Весна 2012». Следом – «Лето 2012». То и другое – избранные статьи из латышских ежемесячников. Чтение – не чтение – очень серьезное, но... А что если попробовать составить коллективный портрет авторов журнала из собственных их высказываний, подумала я. Получилось у меня следующее.

- Вы философ?
- М-м, да.
- Что это значит?
- Ну это значит, что я не просто преподаю философию, но и думаю о себе, как о ком-то, кто пытается размышлять о вещах с философской точки зрения. И это для меня важно. Я являюсь тем человеком, которым я являюсь, потому что это то, чем я занимаюсь. /.../ В каком-то смысле возможным предметом философствования для философа может стать все что угодно. /.../ Были времена, когда люди верили в ангелов. Ну, и тогда философы должны были говорить что-то об ангелах. В настоящее время ни один философ не рассуждает об ангелах. Несмотря на то, что это весьма увлекательная тема. *(Из интервью с Михаэлем Фреде, философом)*

– Последний вопрос специально для читателей нашего журнала: в чем смысл жизни?

– Даю вам честное слово, что никакого смысла жизни не существует. Поверьте! Доказать не могу... ну вот, блядь! – да рубашку рву! Нету... нету. Между прочим, интересно,... где это слово впервые употреблялось? /.../ По-русски, конечно! Да! И очень поздно! Уверяю вас, если бы родителям Пушкина... если бы они в «Журнале для приятного утреннего чтения»... Он бы надел очки, и сказал бы жене: «Душечка! – ты смотри, что этот сочинитель пишет: «Смысл жизни»... странно...». *(Александр Пятигорский, философ)*

Но у нас есть преимущество. Какое казино, какие наркотики могут заместить понимание того, что все бессмысленно! Это же привилегия, понимаешь? При-ви-ле-ги-я. Это избранность, и не из-за того, что мы лучше или хуже их. Это опять – как посмотреть. Я, например, считаю, хотя со стороны может казаться, что один мой день похож на другой, в моей жизни абсолютно нет рутины. У меня муки, страдания, неудачи в конце концов... Иногда говорят – ну, что это за «творческие муки»? Что вы там мучаетесь? Я мучаюсь, но сладко. У меня объект мучения, он мною овладел, очаровал, и мне уже не важно, ем я или не ем, пью, не пью, сплю, не сплю... Разве это не счастье, если человеку не нужно все то, что все считают самым необходимым? А ты знаешь, если ты найдешь ту дверь и войдешь в ту комнату, пиздец, ты же будешь как в подушке... *(Евгений Пашкевич, кинорежиссер)*

Суть этого произведения сводилась к тому, что Марина Абрамович жила в галерее – в специально выстроенной конструкции, состоявшей из трех частей: душевой и туалета, жилой комнаты и спальни. Частное пространство художница открыла взору посетителей галереи, она принимала душ, спала, ходила в туалет и жила на глазах публики. 12 дней перформанса были для Марины Абрамович постом, духовным и физическим очищением – она ничего не ела, только пила воду. Покинуть свой «дом» она не могла: три комнаты находились на возвышении, к которому вели лестницы, а их ступеньками были ножи, установленные заточенными остриями вверх. /.../ Она признается, что в столь экстремальных работах выходит за пределы собственного тела и попадает в другое измерение времени и пространства.

(Егор Ерохович о художнике перформанса Марине Абрамович)

Когда НРТ /Новый Рижский Театр. – Л.Н./ вписал свое имя в контекст мирового театра, в этот момент изменился и вектор – со стремления быть аттрактивным на склонность к интровертности. Не разглядывать небо и звезды, а пробовать рыть. Интересоваться тем, что находится внутри земного шара, копать в глубину. /.../ Сейчас люди превращаются в некие функции. То, как мы живем, – мы исполняем функции, мы мечемся от одной функции к другой – так же, как компьютер, у которого есть и enter, и exit, и delete...

(Алвис Херманис, театральный режиссер)

Сейчас ты упускаешь шанс, который я даю. Войди в открытую дверь, и ты увидишь, каким разным бывает гомосексуальный мир. Откажись от непреклонных мыслей. Может, настанет такой момент, когда ты почувствуешь, что изменился. Может быть, ты захочешь изменить роли – стать женщиной, почувствовать нежность и красоту, которая рождается в женской груди и лоне. Будь готов к тому, что весь твой мир может перевернуться. Никто не заставляет тебя быть мужчиной, быть мужем и нести на себе непосильный груз ответственности, который взвалило на тебя общество. Ты станешь больше плакать – о ветре, об облаках, о траве, об упавших в воду листьях...

(Гомосексуалист Ни Дунсюэ)

Он напоминал большой опасно накренившийся корабль – непонятно было, выправится он или все же утонет. Затем появилось ощущение, что он просто утратил физическую оболочку и сейчас совсем растает. Я обхватил его, тем временем подыскивая место, где бы он мог приземлиться, но казалось, что земля опрокидывается... Все это происшествие от начала и до конца было как минимум на три процента комичным. Даже в тот момент, когда его лицо касалось моих коленей, а его взгляд, напоминавший взгляд утопленника, как бы застыл во внезапном вопросе, все это время глаза его сияли от радостного возбуждения, с удивлением наблюдая происходящее – и свой собственный вес, и силу притяжения земли, и стремительный полет времени. *(О Кингсли Эмисе, английском писателе)*

Для европейца, размышляющего о будущем, сегодняшний день – как попытки бросить курить: бьющий по нервам опыт.

(Иван Крастев, болгарский политолог)

Основная тема встречи оказалась сформулирована как «Великие Перемены». Следуя ей, Шваб в самом начале недели предался самобичеванию. «Капитализм в его текущем виде уже не соответствует окружающему миру, – заявил он. – Мы согрешили». /.../ В течение следующих нескольких дней слова «конец капитализма» то и дело всплывали тут и там, но для стойкхолдеров сама мысль о возможности такого исхода событий была очевидно неприятна и недопустима /.../ Все эти танцы вокруг мировых проблем так и не привели к каким-либо решениям. /.../ «Как будто мы проснулись в совершенно ином мире, – поделился впечатлениями экономист У. Брайан Артур. – Прямо как во «Властелине колец», когда они находятся под землей и слышат рокот Балрога. Здесь это рокот человечества. Пока что один лишь рокот». *(Ник Помгартен о том, что происходило в Давосе)*

... быть президентом означает интеллектуальную ответственность. Нельзя ли поподробнее?

– Вы упоминали, что быть президентом означает интеллектуальную ответственность. Нельзя ли поподробнее?

– Цитируя Владимира Набокова: все, что могу теперь, – это играть словами. /.../ Я подолгу и тщательно работаю над своими речами, я посвящаю много времени написанию статей, в том числе много публикуюсь за границей, потому что хочу, чтобы Эстония присутствовала на карте мира.

(Тоомас Хендрик Ильвес, президент Эстонии)

Если пойдешь к священнику и каешься, ты как бы не перед человеком исповедуешься, а как бы перед Богом. Это ничего, что Бог невидим. Это ничего, что священник, возможно, грешен. Если человек искренне кается, он освобождается. Мы, правда, привыкли жить так, как будто квасим капусту в бочке – все только вдавливаем в себя глубже и глубже, чтобы поместилось. И потом наступает момент, когда так жить уже невозможно... Ну вот, наговорил тут... теперь я точно... пойду домой и буду плакать. Жизнь короткая такая, и как-то иногда само собой слово выходит... И нужное... и ненужное... .

(Арво Пярт, композитор)

* * *

Коллективный портрет, понятно, не полон – всех персонажей не процитируешь. Но какое-то, самое первое, представление о журнале он, наверное, все же дает.

Сразу же обращает на себя внимание человеческий «калибр» авторов – всё люди, за плечами которых много лет труда и раздумий. Интересна и сама по себе авторская разноголосица. Но тут случай, когда любопытнее, скорее, не столько различия, сколько то общее, что приводит, стараниями редакции, разных авторов на страницы одного издания.

Это общее проще всего (хотя и туманнее всего) определить словом «уровень», безусловно высоким IQ его авторов вкупе с сотрудниками журнала. В таком количестве и в таком густом наборе подобное долго придется искать даже и в Сети, а тут все под одной обложкой. Получается убедительный такой слиток из ста с лишним страниц текста достаточно мелким шрифтом. Причем с напрочь отсутствующим лица скушно-академического выражения. При том, что скоротечной лихорадки интервью на бегу в журнале нет. Журнал на диво щедр в размерах публикаций, одно-единственное интервью можно начать читать с вечера, и продолжить, себе в удовольствие, назавтра. Читать обычно увлекательно и... и весело. С чего бы это?

Некоторая оторопь берет уже, скажем, при взгляде на обложку журнала (Весна 2012). Не глянцева, черно-белая, и на ней крупно портрет: «Человек пыли», творение, как сказано, латышского художника Хария Брантса. Человек пыли, прямо скажем, сильно несимпатичный, такой, знаете, замшелый хуторянин или б/у пролетарий, но с особенным, диким взглядом опасливых и в то же время пронзительно-проницательных глаз. Эпатаж?..

Ну нет. Эпатаж – всегда витрина, реклама, действие во славу себя, любимого. А тут, скорее, провокация (см. цитаты из авторов). Интеллектуальная провокация, исправно конфронтующая со стереотипами массового сознания.

У нас едва ли не первопроходцем в «жанре» интеллектуальной провокации был когда-то, в юны лета, небезызвестный ныне Владимир Линдерман с компанией, активно участвующий в тогда еще машинописном издании журнала «Третья модернизация» и в протестных перформансах советских времен застоя. С годами

Владимир Линдерман посолиднел, за дело взялся, пошел в политику. Но мне вспомнилось по этому поводу, что у Сократа, по свидетельству современников, был излюбленный способ ведения споров – ирония, и та ирония представляла собой ничто иное, как разновидность интеллектуальной провокации. Ирония и политика совместимы? Владимиру Ильичу (Линдерману) видней...

Rīgas laiks же насквозь, однако ж без расхожего ерничанья, ироничен и провоцирует уже тем, что все в нем думают, видите ли, размышляют. Кто о вечном, кто и о сиюминутном. О сиюминутном, в основном, в коротких сообщениях под разными рубриками. Скажем, в рубрике «Живая этика» перечисляются грехи Исаака Ньютона до и после Троицкого дня на протяжении одного, 1662-го, года. Список его собственный, грехов общим числом в 58. Публикация – без сторонних комментариев.

Или рубрика «Мода»: о том, «Как носить вашу кожу» – это о дресс-коде, обязательном для приличных клерков и иже с ними. Тоже без комментариев. В рубрике о спорте расписаны имена и владельцы лошадей, участвовавших в скачках 1962 года на Рижском ипподроме, – что хочешь, то и думай по сему поводу. Сам думай.

Любимый автор журнала, можно сказать, гуру (представлен чуть не в каждом номере латышского варианта и в обоих – русского) – светлой памяти Александр Моисеевич Пятигорский, не раз бывавший в Риге. Человек, для которого слово – всё, и слово же – ничто. Своего рода визитная карточка и камертон журнала. Все прочие, не в обиду будь сказано, – в подбор.

P.S. А забавно, что журнал зовется Rīgas laiks. Мы ведь так привыкли думать, что наше теперешнее рижское время в интеллектуальном отношении такое, знаете, болото без берегов, с половодьем круглый год. Поспешность суждений, однако, как и всякая поспешность, нужна при ловле известно кого.

ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ

«ИЗ ТОЙ РЕКИ...»

Владлен Дозорцев. «Персональный код», Рига, 2012

Самое первое впечатление от новой книги Владлена Дозорцева – плотность и сила поэтической фразы. Именно это – поэтический язык, сила поэтического слова – является определяющим признаком подлинной поэзии. Слово должно работать, оно не имеет права быть расслабляющим, малозначащим, стихи не должны превращаться в нанизывание, собирание чего угодно, оживляемое неизбежным дежурным ёрничеством, – увы, как правило, именно так выглядит большинство нынешней поэтической продукции.

Но от любой строки, строфы в стихах Дозорцева – совсем иное впечатление. Вот хотя бы это:

Выход в «свет» совершается в темень, в полночь.

Это не выход в жизни. Но ты идешь.

При одиночестве это – скорая помощь.

Ты уже не один: ты и дождь.

(«Форштадт»)

Несколько сильных и точных мазков (да, это почти живопись, вернее – графика, что больше подходит Риге, да и Московскому форштадту) – и мы вместе с поэтом оказываемся в реальной и вместе с тем фантастической картине. И можем вслед за ним повторить нелицеприятное, но точное определение города, по крайней мере, в этот вечер: «Рига – такая вмазанная блондинка!». Можно сразу же отметить и другую особенность поэтики Дозорцева: он охотно пользуется городским жаргоном, но это никогда не выливается в ерничество, в простое желание произвести впечатление, ошарашить – нет, это всегда к месту и точно.

Стихотворение – «Форштадт» – трагическое. Оно – о таком одиночестве, когда и дождь – компания, и бандит с ножом – свидетельство, знак, что «хоть кому-то все же ты нужен...». Но одиночество лирического героя Дозорцева (назовем его так) – это не романтическое одиночество неведомо где и когда, вообще никакой романтики у

Дозорцева нет, и это очень хорошо. А что есть? Реальный город и реальное, наше время, и узнаешь и то, и другое с первых строк.

*Рижский югенд, по сути – привозной арт-нуво,
разновидность модерна начала прошлого века...*

.....

Это из стихотворения «Из тура по югенду», где, проходя по городу, поэт трезво и жестко видит и здания, и людей. Вот так, от центра Риги с ее югендштилем куда-нибудь к окраине, которая и мне, читателю, мила, поскольку и я вырос на рижской окраине. А можно оказаться и дальше, где и вовсе жизнь непарадна, и кажется, что там время остановилось. Можно уехать и еще дальше на запад, в столицу бывшей империи, а то и мира, – в Лондон. Оказывается, и там время может остановиться.

*Здесь, в Лондоне, куда ни кинешь взгляд,
часы идут, но времена стоят.
Как и река: течет уже незримо.
Что видишь с кенсингтонского угла?
Что и отсель история ушла,
как некогда ушла она из Рима.*

(«После распада»)

Ну да, сразу по ассоциации вспоминается Бродский: «Город Лондон прекрасен, тут всюду идут часы...», но дело, кажется, все же не в невольном (или сознательном) противопоставлении. Время может остановиться где угодно, если уйдет история, даже там, где всюду идут часы, не говоря уже о пляже к западу от Меллужи или рижском кафе. Но история все же – была, и ее присутствие неоспоримо. Я мог бы назвать отношение Дозорцева к времени, к истории, к жизни и смерти стоическим, но не буду этого делать – все же это не совсем так. Стоик переживает историю и время как дурную погоду, а Дозорцев никогда от своего времени не уклонялся – он участвовал в нем, и участвовал активно, такой уж характер. Очень хорошо это видно, если прочесть его воспоминания «Настоящее прошедшее время», из которых ясно можно понять, как время делает нас, но и мы – время. И пренебрегать временем и историей не следует, ведь мы ее творцы. И как хорошо, что новые времена не вызвали у поэта расхожей

ностальгии, а наоборот – обогатили его речь и мироощущение. И все же... Все же в конце концов поэт оказывается наедине с самим собой. Наедине с любовью. С одиночеством. Со смертью. И тут уже история ни при чем.

И ты видишь, что одна человеческая судьба может быть больше истории.

Особенно если человек сам определяет, когда и как уйти. И оставляет нам загадку: зачем?

Как в стихотворении «Поминки», названном нарочито бесстрастно и где так же бесстрастно говорится о человеке, решившем уйти самому и сделать это как можно более деловито – а в этом-то и загадка, и страх.

*Пить он не пил. Совсем. Как он ушел:
он обнулil компьютер и мобильник,
почистил стол и даже то учел,
что заказал дешевый надмогильник.*

Но эту загадку лучше не разгадывать. И не судить.

*Тот, кто решил все за собой стереть,
тот неподсуден.*

И как бы отвечая себе же и одновременно споря с собой, поэт продолжает, уже в поэме (если это поэма) «К Сальери», закрывающей книгу:

*Поэт не сыщик, но взыскует суть.
Не следователь, но идет по следу.
Он не судья, но совершает суд
и умерших он отправляет в Лету.*

Вообще об этой поэме хотелось бы поговорить отдельно. Но здесь я только обозначу главный, по-моему, вопрос без ответа, там содержащийся: что определяет человеческую жизнь, что важно – сама жизнь как она есть или то, что думают об этом потомки, то есть легенда. Да, Сальери на самом деле не отравлял Моцарта, да, вероятней всего, что и Борис Годунов не приказывал убить царевича Дмитрия, но легенда все равно реальней, чем реальность, и без нее не было бы гениальных Пушкинских «Бориса Годунова» и «Моцарта и Сальери».

Вопрос, повторяю, без ответа.

Но раз уж история так неопределенна, то можно предположить, хотя бы как фантазию, что Наполеон Бонапарт стал императором Франции, чтобы только отомстить французам за покорение Корсики («Зона допуска»). Что ж, и такая версия не хуже других. Но и здесь вопрос без ответа.

Зато у нас появляется слово Лета, и «вода, конечно, та, из той Реки» («Польдер») напоминает о себе чуть ли не в каждом стихотворении. (Река – это Лета? Река времен? Река забвения или, наоборот, памяти? В любом случае – та Река.)

На ней стоит и город, где прошло детство и который «лучше не навещать»:

*В городе N не ремонтируют стен,
как перед войной, и не чинят крыши.
На крышах теперь разводят сорняк антенн.
Но это – везде. Даже в Париже.*

(«Провинциальные зарисовки. В городе N»)

Да ведь и Париж уже был упомянут, в «Форштадте», и он – на той же реке.

*Дождь, как и «свет», – в десяти кварталах от центра –
что здесь, что в Париже, куда забредал и ты.
Помнишь любительницу абсента.
Помнишь бодлеровские цветы.*

И если бы только это. Ведь и любовь забыть невозможно, чем бы и как бы она не кончилась. Ведь, как известно:

*На любящих есть странная печать:
Они идут, травы не приминяя...
.....
Я раз любил. И я не разлюбил,
раз любишь ты, пока ты не разлюбишь.*

(«NN»)

Пусть любители грамматических уроков распутывают эту словесную эквилибристику – любящим, и что еще важнее, любившим она и так ясна.

*Я не умею жить. С приходом ночи
 Меня смущает скрип в небесном колесе.
 Но если не постичь науку одиночеств,
 то как нам уходить, куда уходят все?*

(«Мертвый сезон»)

Странное признание – я не умею жить – от человека, всегда активно относившегося к жизни. Но вот здесь, перед небом...

И еще потому, что жизнь – смешна. И страшна – что то же.

*На песке, отшарканном от снега,
 веткой нацарапано эссе:
 «Я б хотела умереть от смеха.
 Но умру, наверное, как все».*

.....
*Я бы тоже детка, я бы тоже.
 Жизнь смешна – животик надорвешь.
 Каждый день, ее абсурд итожа,
 Хрипнешь. Но от смеха не умрешь.*

.....
*Если что всерьез и убивает,
 то за взрывом смеха – тишина.*

(«Вместо буриме»)

На этой оптимистической ноте и закончим. Кажется, я и так злоупотребил цитатами. (Да еще не уверен, действительно ли поэт имел в виду то, что я вывел из его стихов, или не совсем то, или даже совсем не то. Но написанное – живет уже своей жизнью, и рукописи не горят.) Поэт Владлен Дозорцев не нуждается во мне как представителе или истолкователе. А цитировал я просто из эгоизма – мне самому очень хотелось перечитывать и повторять стихи из этой книги, возвращаться к ним. А это – знак, что стихи живут.

АЛЬМАНАХ «ХРИСТИАНОС» – МЕСТО ВСТРЕЧИ

С 1991 года в Риге подготавливается и издается на русском языке – не реже одного раза в год – богословский альманах «Христианос», что в переводе с греческого означает «Христианин». В альманахе публикуются архивные материалы, переписка, жизнеописания, проповеди, беседы, наследие и статьи о сегодняшних общехристианских церковных проблемах и событиях – все то, что помогает современному человеку укрепиться в вере, приобщиться к духовному миру христианских подвижников Востока и Запада, преодолеть конфессиональные и национальные предубеждения. Материалы альманаха помогают христианам различных национальностей и конфессий лучше узнать друг друга. Читают альманах и люди, исповедующие другие мировые религии, и те, кто только ищет путь веры.

В альманахе публикуются также и тексты выступлений богословов, религиоведов, философов, на различных конференциях (в том числе, – и международных конференциях, которые проводились в Риге Международным Благотворительным Обществом имени Александра Меня, издающим альманах «Христианос»); публикуются и переводные материалы со многих языков мира. Все тексты – уникальны, если же и републикуется какой-то материал, то лишь в том случае, когда он уже недоступен современному русскоязычному читателю. Все статьи – как оригинальные, так и переводные – отличает высокий литературный уровень.

Альманах «Христианос» рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся религиозными проблемами, жизнью Церкви, духовным опытом XX-XXI века. «Христианос» является мостом между иудаизмом, раннехристианской традицией и современной церковной жизнью; между Восточной и Западной традициями христианской Церкви.

Сегодня, когда готовится к выпуску «Христианос-XXI», посвященный размышлениям о Библии, можно увидеть, оглянувшись на

весь путь, длиною в 21 год, что много важных животрепещущих тем было поднято и освещено в альманахе. Назовем хотя бы некоторые из них. Например, один из альманахов был посвящен теме творчества, в котором были разные разделы, в том числе и богословие творчества, и собственно плоды его: поэма, киносценарий, стихи, духовная проза; литературоведческие и искусствоведческие статьи. Другой альманах был посвящен теме смерти, – ее христианскому осмыслению с разных точек зрения. Третий – тайне зла в ее философском, богословском, антропологическом и экзистенциальном аспектах. Четвертый – размышлениям о том, что есть Церковь; пятый был посвящен проблеме разделения христиан; шестой – разговору о Царстве Божием и его свидетелях – наших современниках. Одна из отличительных особенностей альманаха в том, что он не только обращается к определенным проблемам, но и к личностям, в которых эти проблемы раскрываются, становятся жизненной темой, болью, подвигом, личным путем. Неслучайно каждый номер альманаха предваряет эпиграф-кредо: «Путям, которыми идет душа человеческая к Богу, посвящен этот альманах. Особенно значима для нас жизнь христиан нашего времени...»

«Если мы посмотрим на все выпуски альманаха «Христианос», пробежим глазами оглавления 20 его номеров, у нас, вероятно, возникнет ощущение пути, выбранного с самого начала, но пролагаемого с трудом, а затем становящегося все более уверенным, я бы сказал, индивидуальным. [...]

«Христианос» вырос, прежде всего, из памяти, из того духовного завещания, которое отец Александр Мень оставил Наталии Большаковой незадолго до того, как вышел из дома и пошел по тропинке к поезду, направляясь в храм 9 сентября 1990 года. Этот день, ставший границей между его физической жизнью и физической смертью, осветил собою духовную жизнь, над которой смерть уже не имела власти. Оказалось, что отец Александр, не считая множества духовных детей и многих книг, коих, казалось, не под силу было создать одному человеку, оставил не одно, а множество наследств, причем, совсем разных: вот Общедоступный православный университет, носящий его имя, вот группа добровольцев, столько лет работающих в Российской детской клинической больнице, вот и альманах «Христианос», воплощающий в себе предложенный

отцом Александром тип диалога с другими исповеданиями и новый, во многом неожиданный для православия, поворот к тайне народа Израиля»¹.

Сегодня «Христианос» знают во многих странах Европы, и в Израиле, в Канаде, в США. Во многих университетских и монастырских библиотеках есть подборки номеров альманаха. И авторы – как и герои – «Христианоса» также из разных стран мира – из России, Италии, Польши, Израиля, Франции, Англии, Бельгии, Германии и т.д. Но и, конечно, – из Латвии – родины альманаха. Во-первых, это дорогой для нас и любимый читателями, архимандрит Виктор (Мамонтов) из маленького латвийского городка Карсава (в сборниках статей о Виктора, изданных в Москве, многие тексты впервые были опубликованы в «Христианосе»); это и преподаватель Латвийской Академии Культуры Александр Гаврилин, и митрополит Рижский и Латвийский Леонид (Поляков, 1913-1990); и архиепископ Латвийской Лютеранской Церкви Янис Ванагс; и священник Римско-Католической Церкви в Латвии Андрис Кравалис; и православный священник из г. Елгавы Владимир Вильгерт; среди опубликованных в «Христианосе» материалов есть проповеди и биография архимандрита Тавриона (Багозского, 1898-1978), ради служения которого еще во времена СССР приезжали в Пустыньку, под Елгавой, многие христиане из разных уголков большой страны.

И, конечно, в каждом номере альманаха есть тексты отца Александра Меня – его статьи, проповеди, его письма, фотографии, интервью с ним и материалы о нем, как биографические, так и исследовательские, посвященные его огромному духовно-творческому наследию. А «Христианос-ХІХ», изданный в 2010 г., мы полностью посвятили ему. Этот номер, объемом более 400 страниц, отличается от всех остальных даже цветом, дизайном обложки, и вместо нашего эпиграфа-кредо на шмуцтитуле написано: «Памяти протоиерея Александра Меня – основателя альманаха «Христианос», по случаю 20-летней годовщины его мученической кончины, посвящается этот выпуск альманаха».

1. Из выступления члена редакционного совета альманаха – священника Владимира Зелинского (писателя, философа, переводчика) на презентации XX-го номера «Христианоса», проходившей 05.12.2011 г. в Москве, во Всероссийской Государственной Библиотеке Иностранной Литературы.

Имя религиозного мыслителя и писателя, библеиста и священника, миссионера и мученика – о. А. Меня (1935-1990) известно во многих странах мира. Но понимаю, что у некоторых читателей может возникнуть недоумение: «Каким образом о. Александр, живший в Москве и в Подмоскovie, является основателем журнала, выходящего в Риге?...»

... Отец Александр горячо говорил о том, какой это будет необыкновенный журнал – журнал, которого у нас никогда не было! Журнал, который будет вводить человека в мир веры, устранять камни преткновения на пути нашего современника к Богу...

Во второй половине 80-х годов прошлого столетия я, по мере возможности, ездила из Риги к о. Александру в с. Новая Деревня, недалеко от г. Пушкино и считала себя членом его общины. Когда летом 1989 г. о. Александр решительно отверг мое предложение о реальной возможности издать книгу его лекций в США (у меня была договоренность с Екатериной Аполлинарьевной Львовой, руководительницей издательства «Religious Books for Russia» об издании всех циклов лекций А. Меня), сказав, что теперь надо издавать только здесь (он имел в виду СССР), я сразу поверила, что это будет, хотя окружавшая нас действительность, мягко говоря, отнюдь не способствовала этому. Но таковы были вера и дар этого человека, что благодаря ему и Евангельское благовестие становилось реальностью для многих, поколениями вырванных из контекста христианства, людей, и слова, сказанные им, никогда не вызывали сомнений.

Мы уже работали с ним над подготовкой некоторых его книг для публикаций, когда однажды, одновременно, заговорили о журнале. Я – робко, с надеждой на поддержку, а он с радостью от единомыслия и вдохновенно от открывшейся ему перспективы.

Отец Александр горячо говорил о том, какой это будет необыкновенный журнал – журнал, которого у нас никогда не было! Журнал, который будет вводить человека в мир веры, устранять камни преткновения на пути нашего современника к Богу, в Церковь, который поможет восстановлению общинной жизни евангельского,

апостольского типа, поможет избавлению от конфессиональной нетерпимости, поможет обрести веру более сознательную и личную, веру как силу жизни, силу упования, чтобы духовность православного христианина была не раздвоенной или замкнутой, но воплощенной и творческой.

Все это было чудесно до тех пор, пока он не сказал, что этот необыкновенный, никогда не существовавший в природе журнал буду делать я. То есть, мы все вместе будем работать, в Ригу будут приезжать на время люди из Новой Деревни, о. Александр будет давать свои статьи и лекции в каждый номер, мы будем все обсуждать и т.д., но издавать его будем в Риге и главным редактором его буду я.

Когда я взмолилась, что мне страшно, что не смогу, не сумею и т.д., он сказал: «Не бойтесь, я буду Вам помогать, я буду рядом». И добавил: «Ну, спать Вы, конечно, перестанете, но делать это – надо!» И посмотрел на меня серьезно, как бы проверяя, все ли я поняла.

...Когда я осталась наедине с его почти приказом – надо! – несмотря на все, что произошло, несмотря на страх и одиночество, я поняла, что по своей воле я не могу отказаться от попытки сделать журнал.

У меня не было ничего, кроме горячего желания следовать, хоть в малой степени, за о. Александром, что было для меня равносильно исполнению воли Божией.

Знаю теперь, что делать журнал можно, только отдавая ему все силы, посвящая жизнь, что это способ служения, в котором бывает и мрак, и одиночество, но знаю также, что у меня нет другой возможности сделать зримой и воплощенной свою любовь и веру.

А отец Александр, конечно, помогает, как и обещал, без него не было бы этого альманаха, который я так люблю, который мне бесконечно интересен, – я открываю выпуски прежних лет и перечитываю знакомые тексты, которые не только не потеряли своей значимости и сегодня, но, кажется, наполнились новым смыслом, потому что они – подлинные.

Я благодарна за «Христианос» еще и потому, что он приводит ко мне людей, которых я могла встретить только на его пространстве, потому что это – место Встречи.

Рига, 29 июля 2012 г.

РА 3

ИГОРЬ ТРОХАЧЕВСКИЙ

ПРИВЕТ ОТ ЕГОРА ЛЕТОВА

(рОковое эссе)

В конце весны на сайте «aquarium.lenta.ru» опубликовали сенсационный кавер. В рамках спецпроекта по созданию второго, юбилейного трибьюта «Аквариума». Кавер-версию «Электрического пса» Бориса Гребенщикова в исполнении отъехавшего навсегда Егора Летова. Почти никто и не знал о существовании подобной версии «Электро-пса».

Про Егора Летова, главного рабочего рок-группы «Гражданская Оборона», и по сей день упоминают редко. Незаслуженно редко, если вспомнить о его русском вкладе во вторичный, так называемый «русский рок». Виной тому явно доисторический, начального периода, жесткий радикализм Игоря Федоровича, если по паспорту.

Провокационность Егора Летова порой оказывалась черной кошкой в темной комнате, которой там и нет. Припев песни «Общество Память» принимали на удивление буквально.

Песни «Про дурачка» и «Все идет по плану» – прочно народные. Судя по частому исполнению данных «боевиков» в подземных переходах. С такой же регулярностью уличными певцами-гитаристами исполняются «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови» Виктора Цоя... Стены подворотен и «плоскота» заборов испещрены, опять же, все больше названиями двух любимых команд. Что еще живей и красочней в состоянии подтвердить народную любовь.

Провокационность Егора Летова порой оказывалась черной кошкой в темной комнате, которой там и нет. Припев песни «Общество Память» принимали на удивление буквально. Сейчас всех удивляет видео, где на концерте в Хайфе молодые евреи подпевают – «Вешай жидов и «Расею» спасай». Ведь ясней ясеня, что слова, по замыслу автора, принадлежат отморозенному гопнику из названного общества. От его лица, точнее мурла и исполнялась «Общество Память».

Грязный мусорный саунд первых альбомов, панковская и де-

прессивная, как считалось, энергетика отпугивала представителей ТВ и радио. Но вот чудо – песни Обороны сами разлетались – как воздушные пирожки по бывшему Союзу.

Неудобному и колючему Летову рок-журналисты противопоставляли лучезарного, жизнелюбивого Бориса Гребенщикова. На этот счет сам Летов сочинил и спел шуточную, по сути – серьезную вещь, со знаковым припевом – «Если б я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков».

Поклонники «Гражданской обороны» всегда чувствовали пробивное и здоровое солнышко – сквозь слегка насупленные тексты и музыку. Лебединые, три последних альбома Егора Летова – как раз и доказали мощное присутствие живого и сильного солнышка в летовском мировоззрении. Чистые, как офисные окна саунд, тексты, напоминающие великую простоту и юность мира музыкальной культуры шестидесятых.

Недаром, правда, уже после кончины Егора Летова, в 2008-ом году, многие художники потянулись к его творчеству – как к прочному источнику вдохновения. Фильм «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского, по словам режиссера, «без песен «Гражданской Обороны» не состоялся бы». Актер, исполнявший роль стажера-метеоролога на полярной станции, в кадре и за кадром практически не снимал наушников. В плэйере, для правильного настроения, крутилось три последних диска «Обороны» – «Долгая счастливая жизнь», «Реанимация», «Зачем снятся сны»... А новая работа Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь» заканчивается одноименной песней. С одноименного же альбома.

В 2000-ом году в Доме Культуры «Драудзиба» символично не состоялось выступление Игоря Федоровича. Для наших попсовых и бургерских широт больше привычной выступления мягких и пушистых, гламурных «сплинов» да «Би-2». Именно по эстетическим причинам-заморочкам латвийские таможенники и ссадили Игоря Федоровича с поезда и не пустили в Ригу.

Нас, рижан, до сих пор памятно берегущих билеты с того

«пустого», не прошедшего концерта, еще как радуется появлению новой работы главного «оборонщика» с гитарой... Запись «Электрического пса» пришлось на время работы над альбомами-прорывами - «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация». При помощи соло-гитариста Александра Чеснакова и драм-машины, такого компьютера для записи и воспроизведения барабанных ритмов, Егор и исполнил наиболее ему близкую вещь «Аквариума». Четвертую композицию со старинного, 1981-ый год, «Синего альбома – сам БГ сочинил в состоянии некоторого душевного и материального раздвоя... Долги, конфликты с тогдашней супругой... Игорь Федорович почувствовал этот нерв и беспокойство, без которых не было бы гениальных творений ни Владимира Высоцкого, ни Александра Башлачева, ни самого Егора Летова...

Действительно, стоит послушать напряженно боевой вокал Егора Летова, выводящий нечто современное. В частности:

*«И сплоченность рядов есть свидетельство дружбы –
Или страха сделать свой собственный шаг.
И над кухней-замком возвышенно реет
Похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг.»*

ОПАСНОСТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЙ

(Moreino S. Frāze un līdzsvars. Rīga: Mansards, 2012)

Недавно вышла книга Сергея Морейно. Это может только порадовать. По-латышски изданы тексты живущего в Латвии поэта, переводчика. Таким образом открывается возможность диалога и взаимопонимания.

Это бывает не так уж часто. Но знакомство с этим сборником оставляет двойственное чувство – радость чередуется с недоумением: кое-какие места в этих текстах воспринимаются как благоприятная почва для возникновения недоразумений. Конечно, можно допустить, что виноват в этом я сам: забываю, что передо мной все же не философская книга. Однако, автор нередко затрагивает и эту, близкую мне тематику, так что невольно напрашивается другое заключение, хотя оно и не значит, что я все понял.

Сборник заявляется как книга эссе, которую можно поставить в один ряд с переводами В. Беньямина, Т. Адорно и С. Зонтаг. Отложим пока вопрос об эссеистике и приравнивании. Но не плодотворнее ли было бы в предисловии вместо приравнивания познакомить читателя с Морейно и его работой? Ну, не настолько хорошо он известен читающей латышской публике, чтобы отказать от хотя бы коротенькой информации. Неясно также, по какому принципу составлялся сборник, кто занимался отбором текстов. Но не будем задерживать внимание на этих вопросах: главное, что книга увидела свет, что издательство эту книгу выпустило.

Тексты на латышский язык переводили несколько человек, качество переводов – неоднородное. Нередко очень хочется заглянуть в оригинал, жаль, что это затруднительно, так как нет указаний первых публикаций. В тексте встречаются русизмы, грамматические и стилистические огрехи. Появляются какие-то *tjučevi, agasfēri, vadžasravi, tumsas kņazi* и т. п. Не всегда оправдано следование принятому стандарту, так как не исключено, что порой его определяет

незнание. Может быть, при другом подходе больше бы повезло Анчелу (Анчел или Анцел – настоящая фамилия П. Целана – прим. ред.) и ему бы не пришлось сделаться гоем. Тут, правда, уместно было бы сделать оговорку: Морейно не несет ответственности за воспроизведения на латышском языке. Но порой не столь однозначно ясной кажется и позиция самого Морейно, поэтому – достаточно ли обоснованной будет подобная оговорка?

...в книге есть пассажи, в которых искрятся открытия и которые увлекают, наводят на мысли и размышления. ... Порой они рискованны и даже необоснованны, зато увлекают живостью, свежестью, глубиной мысли...

В этой позиции намечается своего рода arrogance, чуть ли не гордость недостаточным гуманитарным образованием. Такое образование помогло бы использовать четкие формы или форму слова и устранило бы иные огрехи (чтобы не сказать ошибки). Приведу лишь несколько примеров. Воспроизведение древнегреческих слов неточное. Странно, что не в лучшем положении оказываются и немецкие слова. Множественное число „schmerzen” – „sāpes” – (муки) воспроизводится выдаваемым за средний род словом мужского рода в единственном числе; *schmelzen* выдается за „*smelgšanu*” (щемящую боль), хотя наряду с основным значением „*kust*” (таять) это слово означает „*atmaigt*” (смягчиться). Цитата В. Беньямина (стр. 210) переведена на латышский язык неверно. Вообще непонятно, что, когда и почему переводится (иногда пишется на немецком и русском с присоединением латышского перевода, иногда – без латышского перевода, иногда – только на русском языке).

Морейно любит ссылаться на философов. Поминается и Хайдеггер (стр. 82), но цитата на латышский язык переведена просто совсем неверно. Да и сам Морейно в соответствующем тексте не осуществляет хайдеггерского показывания (*Zeigen*) и не раскрывает значения намек (*Wink*). А Платон о чистилище не писал. Будь Морейно более осведомлен в области философии, ему пришлось бы придти к выводу, что его заключение «Куннос-это-Время» в принципе является априорной формой восприятия Канта, т. е., Морейно судит уже априори, а не воспринимает Кунноса. Не исключаю, что Лосев может

показаться комичным и еще кому-нибудь, не только заявляющему об этом в своей книге Морейно. А что, если кому-то покажется таким сам Морейно? Задайся наш автор подобным вопросом, может быть, он удержался бы от фамильярного обращения (просто – Мераб) к Мамардашвили, чья образованность, культура, на мой взгляд, не допускают подобного панибратства. Но, может быть, Морейно невольно приводит нас к заключению о том, что если верен вывод о философе как неудавшемся писателе, то столь же верным окажется и обратное высказывание – о писателе, как неудавшемся философе. Как бы то ни было – в философии уже издавна продумана проблематика времени, и это позволяет нам уклониться от постулирования какого-то Φ времени. Все же в книге есть пассажи, в которых искрятся открытия и которые увлекают, наводят на мысли и размышления. Эти пассажи показывают другой взгляд, другой угол зрения. Порой они рискованны и даже необоснованны, зато увлекают живостью, свежестью, глубиной мысли. Иной раз дух захватывает. Только местами, выражаясь словами самого Морейно, замечается «перенасыщенность реалиями, неумение остановиться». А перевод неизбежно усугубляет просчеты оригинала. Но возможно, это всего лишь недоразумение, возникшее по вине моего собственного обостренного восприятия.

Не сомневаюсь в пользе издания этого же самого сборника на русском языке.

Тексты, включенные в рассматриваемую книгу, очень разные. Вряд ли можно счесть их все за эссе. Можно лишь согласиться с Морейно: «Если великая конструкция не будет легкой во всех своих проявлениях, она рухнет, придавленная собственной тяжестью». Эссе должно быть легким во всех своих проявлениях. И Морейно иной раз добивается этой легкости. Но равновесие еще не достигнуто.

МАРИС ЧАКЛАЙС

ФРАГМЕНТ* ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ КНИГИ

«ЖИЗНЬ КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Этот отрывок из незаконченной книги опубликован в март-товском номере журнала „KAROGS” за 2004 год – через три месяца после кончины автора.

Работая над книгой, Марис Чаклайс знал уже, что дни его сочтены. И в этой книге он прощается с друзьями, с собратьями по перу, своими сверстниками, современниками.

Он уже не подвластен ни конъюнктуре, ни какой бы там ни было цензуре или другим внутренним или внешним ограничениям: его задача – высказаться; облечь сверенные – с самим собой, со своими героями – единомышленниками и друзьями, с правдой прошлого и настоящего, – переживания в емкие слова, которые открыли бы как можно больше – о жизни, о судьбах, о поэзии второй половины 20 – самого начала 21 века.

Так совпало, что «Фрагмент» Чаклайса в русском переводе публикуется в «знаковое» для этих латышских поэтов время их жизни: Кнут Скуениекс отметил свое 75-летие в сентябре прошлого года, Имант Аузинь встречает эту дату в ноябре нынешнего, у Яниса Петерса она тоже уже не за горами, а у Иманта Зиедониса и Ояра Вацietиса (последнего нет среди нас почти уже двадцать лет) в будущем, 2013 году, еще более почтенный юбилей – 80-летие.

* Сокращенный вариант

МОГУЧАЯ КУЧКА

«Нас там было только четверо...»

Нет- нет, какие четверо – нас было гораздо больше. Больше и этой *обоймы*, как называли нас советские функционеры шестидесятых – семидесятых годов. «Он ведь тоже из вашей *Кучки*», – говорили друзья...

*Когда в белизне бумаги
как в свежей пахоте вязну
или гудит в мембране
день неудачный и радости нет, –*

*я глаза поднимаю
туда, где скользят облака,
туда, где Ояр сияет,
Иманты с ним и Янис.*

*Позлащенный ли нимб обрамляет,
тучи ли вас окружают,
глубины саднящие заново
вам надлежит высекать.*

*Да и не будь его – всюду
небо это со мною всегда –
то, где Ояр, Иманты, Янис
как ясные звезды блестят.*

Это признание 1976 года, конечно, субъективно, как любое признание, но Ояр, два Иманта и Янис, к которым добавляется Кнут, – они есть объективно, их всех, кроме Ояра, можно реально поприветствовать.

Ояр Вацietис не столько в своем «Ветре дальних странствий», сколько в сборнике «В огне» был зачинателем возрождения латышской поэзии в Латвии. Книгу избранных стихотворений Чака, имевшую большой и освежающий смысл, составил он. Но не ищите в его книгах влияния Чака. Не найдете вы там влияний и того или иного из прославленных русских поэтов шестидесятых годов. Ояр близко знал

Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, а еще ближе – Роберта Рождественского, но это вовсе не означает, что их творчество на него как-нибудь повлияло.

Ояр был нашим мотором, крыльями и пропеллером. Даже начало Кнута (и не только начало), хотя он и не хотел этого признавать, определенно отмечено влиянием Ояра.

«ЭТА ЗЕМЛЯ, ТВОЙ ПОЦЕЛУЙ И КРАСНЫЙ ОГОНЬ В ПЕЧИ»

Первым из них, кого я встретил еще осенью 1958 года, когда только что поступил в университет, был Имант Аузинь. ...

Имант рано женился, рано получил квартиру, и мы частенько собирались у него на улице Тирзас. Или – садились в электричку и мчались в Юрмалу. Там, в Майори, на улице Йомас, была шашлычная с теплой печью и дешевыми грузинскими винами Цинандали и Саперави. ... Мы все рано начали работать в редакциях или издательстве, но не это было главной темой наших разговоров.

Главное были книги – где достать нужные нам? Латышскую поэзию в значительной мере уже можно было читать в библиотеке Мисиня, многое было доступно в домашних библиотеках тех студентов, которые были рижанами. ...

Классика в переводах времен Латвийской Республики и немецкой оккупации уже была накоплена изрядно, нехватало мировой литературы. Западных авторов (конечно, выборочно) довольно рано, к его чести, начинает публиковать московский журнал «Иностранная литература», из центров империи доходит к нам и новейшая мировая литература. Позднее, в середине шестидесятых годов – с укреплением контактов, – мы получаем немало запрещенных и незапрещенных произведений как зарубежной, так и латышской литературы благодаря посредничеству русских и еврейских интеллектуалов Риги. Книги и журналы приходят из окружения русских знакомых Людмилы Азаровой и Ояра Вацietиса, Майи Силмале и Дзидры Калныни.

Начало шестидесятых годов ознаменовалось победным маршем записей песен Булата Окуджавы – они вошли в наши будни благодаря Лиде и Виктору.

У рижских поэтов Лидии Ждановой и Виктора Андреева был магнитофон – в те годы еще довольно большая редкость. И каждый раз, когда мы собирались у них в квартире на бульваре Райниса, там звучали песенки Окуджавы *о синем троллейбусе, о Ленке Королеве* и другие.

Это были простые романсы, грустные и в то же время радостные, возвышенные, аристократические романсы.

В старом корпусе дубултского Дома писателей – нового еще не было – в желтом деревянном здании, перед которым лизал мед гипсовый медведь, покрашенный в коричневый цвет, со мной по соседству жил человек небольшого роста кавказской наружности, говорил по-русски – поздоровается, скажет несколько фраз, но ни в какое «завязывание дружбы», как многие, не вступает.

Поддавшись уговорам, даже некоторому нажиму друзей, Булат Окуджава устроил в *гостиной* своего номера прощальный концерт. Это было что-то незабываемое – естественная интонация песен. Непреклонное достоинство. Жизнелюбие. Ирония. Иной раз – весьма горькая ирония, а не веселый юмор. Большой и сильный человек такую иронию может себе позволить.

Потом было у нас еще много встреч в Москве, главным образом в Центральном доме литераторов, позднее – в дубултском Доме писателей, где были написаны широко известные романы Булата Окуджавы – «Приключения Шипова», «Путешествие дилетантов» и др.

В середине девяностых годов вечера Булата проходят в переполненных залах (Дом конгрессов, кинотеатр «Палладиум»...).

С писателями Окуджава встречается в Доме Беньяминов. И просит меня вести вечер. Он попрежнему остается духовно стойким поэтом – выразителем главнейших ценностей человека – чести и собственного достоинства. (Да, именно поэтом, потому что и свои столь популярные песни он все-таки считал выпеваемыми стихами).

«Режим, который изрядно помял и меня, и мою семью, – говорит Булат (его отец расстрелян в 1937 году, мать 19 лет провела в лагере), – рухнул. Но он продолжает жить и борется за свое существование».

На вопрос о поколениях и конфликтах между поколениями Булат отвечает, что он раздут: «Когда я начал писать стихи, мне казалось: я конфликтую со своим поколением. Теперь, через тридцать лет,

оказывается, что эти песни нужны людям все новых и новых поколений».

Этот вопрос – весьма существенный. Ибо противопоставление поколений было и остается уделом нищих духом. Свидетели поколений не в горизонтали, а в вертикали. Как мы тянулись к поэтам, которых нам еще посчастливилось увидеть и встретить, – к Валдису Гревиньшу, Элзе Стерсте, Янису Меденису, да и к Янису Судрабкалну, Мирдзе Кемпе – к ним тоже, – каким бы ни был опыт непорочности наших будущих задиристых юношей в несравнимо более легких условиях. Ничего нам от них, наших старших коллег, не было нужно, никакой особой помощи или опеки – важно было, что они есть, просто реально есть. ...

«Но где вы, сорокалетние?» – в том же 1962 году спрашивает Имант Аузинь.

*Почему вас так мало,
Сорокалетние?*

Этот вопрос обращен не к своему, не к предшествующему поколению – это вопрос к судьбе.

Но ответа нет – ибо нет их – расстреляны, сосланы, бежали.

Интенсивно о себе заявляет новое поколение.

Целенаправленное движение к открытости и к расширению мира намечают уже первые книги Иманта Аузиня «Спросил я у сердца» (1961) и «Синие своды» (1963).

Естественно, что смело и решительно начатому Имантом Аузиным пути суждено было стать результативным, и это произошло в сборнике 1968 года «Грустный оптимизм», в книге, которая обозначила не только отдельный поток поэзии, но целое направление в мышлении.

1968 год... Выходят поэтические сборники «Время кукушек» Ояра Вацietиса, «Я вхожу в себя» Иманта Зиедониса, «Жернов» Яниса Петерса.

1968 год с *Пражской весной* – это год надежд, но и крушения иллюзий о «демократическом социализме». ...

Книги Иманта Аузиня выходят одна за другой.

Путь к новому открытию никогда не бывает легким.

«В мире, в нашем окружении и в самом человеке есть большие, плодотворные, но и опасные силы. Может быть, вернее будет сказать – сила слепа, если ею не руководит высокая мелодия жизни. Может

быть, путь художника и есть сражение за эту высокую струну в себе и в мире?»

У Ояра новый уровень поэтического сознания достигается скачкообразно – он приходит как внезапное озарение, у Зиедониса – играючи, поэтическим шутовством словно бы усыпляя насто-роженность Музы. Аузинь на своем пути к новой истине мне всегда напоминал горняка, такого, как я видел чуть ни на километровой глубине горы в Армении. Бур дрожит, но врезается в породу, и тут – или бур застревает, или отваливается глыба. Медленно, но все ближе и ближе к цели. Обвалы непрогнозируемы.

Меня всегда дисциплинировали упорство Иманта, собранность, чувство порядка. Его ненавязчивые побуждения работать действо-вали, оказывались своевременны. ... Вот, в этом письме от 15 августа 1961 года из Одессы, где находится на армейской службе, составляя свой уже второй сборник, Имант Аузинь пишет мне: «Начал ли ты готовить к обсуждению первый сборник? Мне кажется, пора, потому что при темпах нашего издательства пройдет еще время, пока издадут.

Не знаю, особенность ли это эпохи или что-то другое, но у нас первые сборники стали издавать только в возрасте тридцати лет... Так поэзия просто не может развиваться».

... Старание подбодрить, взбудоражить, да и конкретная помощь, умение разделить печаль и радость, оказаться рядом в счастье и несчастье – это был неписанный кодекс этики тех лет.

2 октября 1965 года Имант пишет мне из Риги в Коктебель:

«Второй вопрос – сегодня (по просьбе Инты, потому что в октябре в Москве дело Кнута будет рассматриваться повторно), на президиуме секции поэзии обсуждали стихи Кнута и написали отзыв, который, надо надеяться, пошлют в Верховный суд СССР. Коллеги высказывались весьма положительно, его работа этого заслуживает. Наверно, особого значения наш отзыв не возымеет, но все же это лучше, чем сидеть сложа руки. Ситуация неясная, почти никакой надежды нет. Но, может быть, все-таки?»

Отрицающий всякого рода элитарность, Имант и сам всегда жил аскетично – его письменный стол как корабль в море, а вдоль стен сплошь паруса других парусников – полки с самыми необходимыми для работы книгами, забитые до отказа.

Тетради, листки с выписками, рукописи книг – работа Иманта

в литературе – высокая, возвышенная и в то же время словно бы и приземленная – меня всегда пленяла, была импульсом.

Имант – терпеливый просеиватель золотоносного песка, – проходят дни и недели, и вдруг, да – вот они, самородки, приходит *«эта земля, твой поцелуй и красный огонь в печи»* – слова, которые скрепляют ощущение, слова, которые звучат, как колокол.

«По гребню крыши». Имант Зиедонис

... Когда мы произносим – Имант Зиедонис, – у большей части людей всплывает перед глазами сухощавое лицо Иманта и над ним скульптурный нимб волос, увиденные на страницах книг и газет, на теле- и киноэкранах.

У меня первое появление Иманта связывается с публикацией в журнале «Liesma» – бодрые, шероховатые тексты, а он сам – с выступлением в Доме работников искусств в 1960 году.

Это было захватывающее выступление – энергично, отрывисто звучали свежие слова, влекущие за собой целый ворох переживаний.

Теперь, когда я читаю и слышу откровения Иманта, что искусство есть «субпродукт (неполный продукт) божественного откровения, потому что эгоизм его затуманивает, маскирует, делает чуть грязнее – то есть, понятнее людям, экзистенциальнее», – я, признаюсь совершенно определенно, – хочу вернуться к более экзистенциальному, значит, чуть более грязному, не столь рафинированному Зиедонису юных дней. ...

Назад к той скорости мотоцикла, где лес и дорожные столбы означают нечто большее, чем философская категория.

И, хотя Имант говорит: «Ко всем формулам приходишь только биографически», – я хочу и иду обратно, прочь от формул, к биографической неповторимости, от возвышенности назад к пламенности.

Удивительно непосредственный свет присущ стихам молодости Иманта, не обобщенное ощущение, но уловимый, осязаемый, доступный всем органам чувств, конкретный лиризм. Позднее этот лиризм становится более утонченным, обогащается побочными нюансами настроений, а стихи молодости со своей монолитностью остаются как самородки из рудников не только Иманта, но всей

поэзии шестидесятых годов.

Французский поэт Рене Шар сказал: «Поэт на своем пути должен оставить не доказательства, а следы. Только следы манят».

Меня мало интересовал мир философских вертикалей, горизонталей, кружочков и буковок Иманта, ходить по нему вслед за ним мне никогда не хотелось. Зато я верю его внезапным туманам, синим далям, верю дорожным столбам, которые ходят вокруг дома, я верю Фрицису Барде в Иманте Зиедонисе. ...

... Костер, потрескивают поленья, горят просмоленные веревки. Рыбаки, пенсионеры, два живописца. Разговор: Разве школа дает какое-нибудь уменье? Но и школа – нужна. В любой работе. В поэзии тоже. (Правда, только что я прочитал «открытие» одной литературной стрекозки: «Литература – не живопись. В живописи все-таки очень много надо знать о технике»). ...

...откуда у нас бралось время?

Времени хватало, друзей немного, но настоящие, и враги – тоже.

Может быть, прав Бернард Шоу: «Когда Бог творил время, он его сотворил достаточно».

... У каждого времени свой театр.

В поэзии Зиедониса немало театральности. ...

Хоть они и родились в один год, конечно, Имант – ученик Ояра. ... Но – в отличие от Ояра, поэта от природы, от Бога, поэта – вулкана, Имант Зиедонис целеустремленно себя формировал, работал над развитием своих способностей и возможностей, возводил перед собой планку судьбы, целенаправленно формировал свой образ, теперь сказали бы – имидж.

... Имант – тот, кто ходит по гребню крыши в песне Иманта Калныньша.

... Вацietис, Зиедонис, Петерс – троица, которую верхаигнорировать не могли.

... самым прекрасным мне кажется именно это наше понимание друг друга с полуслова. ... Самое главное: у нас – выражаясь ныне популярными словами – было чувство плеча. Я еще и теперь ощущаю тепло этого чувства.

Янис Петерс в судьбе: моей и своей

Судьбе заблагорассудилось, чтобы Янис Петерс с первой же нашей встречи, когда он молодым поэтом из Лиепаи в начале шестидесятых годов появился в Союзе писателей, и до самой последней – в Рижском Латышском обществе на презентации моей книги «Вызов» 17 ноября 2003, – был и оставался для меня просто Янис ...

Лиепая меня притягивала и завораживала уже со школьных лет, когда для посещения города требовалось разрешение; с середины шестидесятых годов, когда мы «в самом одиноком одиночестве вдвоем» (Олаф Стумбрс) прыгали по голубым стеклам на побережье, по зеленым льдинам.

... Мое внимание привлекал отец Яниса – его внешне спокойное, почти фатально-крестьянское восприятие всего сущего – и горячий интерес ко всему, что происходит. Здесь и вдалеке. И вдалеке – то есть, вне Латвии – не менее, чем здесь.

Участник борьбы за свободу Латвии Янис Петерс (старший) в боях под Лиепаей против Бермонта в возрасте двадцати четырех лет потерял ногу. Так он прожил до восьмидесяти двух.

... В свободной Латвии был членом Латвийской социал-демократической партии, и социал-демократическим идеалам следовал всю свою жизнь. Одним из его лучших друзей был Клав Лоренц. Они часто встречались. Отец Яниса очень гордился, что курземская социал-демократическая организация доверила ему нести венок на похоронах Райниса.

После ульманисовского переворота отец вместе с другими социал-демократами был арестован и заключен в Лиепайский концентрационный лагерь. Заключение длилось всего четыре месяца, но от гражданского общества он и семья оказались отторгнуты: в таком маленьком городке как Приекуле социал-демократ и радикально левый считались почти как одно и то же.

В 1941 году отец Яниса с семьей эвакуировался в Россию.

«Не могу утверждать, но и не исключаю, – говорил мне Янис, – что правые экстремистские группы или силы могли семью этого социал-демократа и человека, сидевшего в концентрационном лагере ульманисовского времени, подвергнуть репрессиям».

Янис остался в Латвии по недоразумению, отец был в Риге в

командировке, мать в Приекуле, а он сам – у бабушки. Позднее родители где-то в России соединились. Там умерла одна из сестреноч Яниса, в латышской советской дивизии пал в бою его брат Андрейс.

В 1949 году, ранней весной, когда началась новая волна репрессий, опять именно за это – принадлежность к социал-демократии – отец был уволен с работы.

24 марта вечером он Яниса с сестренкой предупреждал, что, возможно, сегодня ночью придется куда-то ехать.

«Ну, ничего, – сказал отец, – не плачьте, если нас ночью повезут в Россию, будем жить и там».

Ссылка их миновала. Но социал-демократы были одинаково неприемлемы как простым гражданам, так и коммунистам.

Отец много читал – Шекспира, Райниса, и политическую литературу, например, мемуары Черчиля. Отец Яниса читал много. Об этом-то мы и говорили.

Информация, если только ее хотели получить, была доступна, социал-демократ Янис Петерс сен. (так он подписывал и свои стихи, которые держал на своем письменном столе в стопочке) поддерживал связь с прежними товарищами – с Клавом Лоренцом, Фрицисом Мендером, и, наверняка, информация доходила и оттуда.

Помню, с отцом Яниса я говорил о хрущевском времени и о самом Хрущёве, о Солженицыне вообще и об «Одном дне Ивана Денисовича» в частности.

Уже в Москве я узнал, что сын Яниса Кришьянис дипломную работу в московском Институте международных отношений писал о хрущёвских реформах.

«...Конец детства и юность Кришьяниса, – говорит Петерс, – совпали по времени с периодом Атмоды, когда общественная патетика была такой, как в детских мультфильмах, где есть хорошие и есть плохие – всё плохо, что было раньше, и всё хорошо, что делаем теперь. Вполне возможно, что Кришьянис под моим влиянием, может быть, и своих преподавателей и товарищей по институту, пришел к этой теме, желая раскрыть нюансы, чтобы не объявлять жизнь до какой-то черты только злой, а за чертой – только светлой. Мы подобную схему хорошо знаем по предыдущему режиму, который, кляня всё прежнее, оплаченное людскими судьбами, – обещал в будущем светлый

и прекрасный рай. Я думаю, это весьма логично, что сегодня молодежь старается видеть жизнь со всеми нюансами, во всей ее полноте».

... Меняются эпохи и интерьер, остается чувство дома возле Яниса. Потому что это чувство в нем. Это и есть то, что он излучает, – и в коммунальном жилье на улице Радиотехникас с портретом Кнута Скуениекса лагерных времен на стене, и в обстановке в стиле барокко на улице Весетас, и в московских посольских апартаментах в латышском духе с древнелатышской церквушкой за окном.

«Латышские рыбаки, латышские поэты разогнули спины, не хотят пресмыкаться», – с наивной прямоотой говорил молодой Янис Петерс в конце шестидесятых.

Его сборник стихов «Жернов» во двор латышской поэзии вкатился в уже упоминавшемся 1968 году. Его появление было ожидаемым, долгожданным, и «Жернов» остался тут на долгие годы.

– В свое время номенклатура его приняла враждебно, – говорит Янис.

– Зато коллеги, – очень коллегиально.

– Вы приняли больше, чем коллегиально. Вы приняли внезапно, вы приняли меня в свой крут, вы, кто для меня были такими: на недостижимой высоте стоящими поэтами. Идеалом. Критически? Нет, меня приняли слишком некритично. А номенклатура того времени меня встретила враждебно.

Сюрреальные поэтические видения Яниса Петерса, его эссе в стиле барокко, сотни звучных песенных текстов для изрядного десятка композиторов от Раймонда Паулса до Иманта Калныньша – это всё имеет бесспорную самоценность.

Семя на снегах и пашнях. Кнут

« ... я не хотел создавать культ из самого тяжелого периода своей жизни – семи лет заключения. То, что для меня, может быть, трагическое исключение, – для народа страшная историческая норма».

В апреле 1962 года наш коллега по редакции газеты «Literatūra un Māksla», только что закончивший московский Литературный

институт молодой поэт Кнут Скуениекс, уехал в командировку в Вентспилс. Оттуда к нам он тогда не вернулся. В редакцию Кнут Скуениекс пришел ровно через семь лет, отсидев «от звонка до звонка» в лагере. «Антисоветская агитация», в которой обвинили молодого поэта, – была полученная в подарок на выставке зарубежной книги в Москве «Британская энциклопедия» плюс полдюжины анекдотов о «некой личности» (имя Хрущёва упомянуть не решились даже в суде), переименование революционного праздника в «револьверный», но самое большое преступление – «Стихотворение о кровавой яблоне», которая ожила в саду сосланных людей.

Кнут Скуениекс – любитель поговорить, коммуникабельный, общественно активный, только что вернувшийся из Москвы «испорченным оттепелью» в Латвию, где тоже начались процессы интеллектуального брожения, был как бельмо на глазу. Понятно, что нашлась и причина – идея Розе, Рийниекса, Калныньша и др. членов национал-политической организации, хоть и не получила поддержки Кнута, но сделаться доносчиком ЧК ему и в голову не пришло. За это – то есть, за недонесение – в то время полагалось три года, за прочее – уже упомянутую «антисоветскую агитацию» – еще семь; ... Скуениексу присудили 7 семь лет колонии строгого режима «с конфискацией средства совершения преступного акта – пищущей машинки».

Разумеется, «дело» Кнута было актом запугивания латышской интеллигенции, в среде которой увлеченно вращался разговорчивый Кнут, начиненный зарядом веяний московской «оттепели», которые несли дыхание не столько России, сколько – мировое. О каких только ценностях мировой поэзии мы впервые ни услышали из уст Кнута! Конечно, мы были неосторожны в своих высказываниях, выборе знакомых, но теперь я думаю – и правильно делали. Потому что – не дай Бог, если бы мы тогда принялись ежеминутно взвешивать, что и сколько кому говорить, – ничего бы мы не узнали, не смогли хотя бы находить утешение в дружбе. Не дай Бог, чтобы мы сами тогда превратились в собственных цензоров.

... Кнут Скуениекс, едва успев опубликовать несколько стихотворений и поэтических переводов, исчез из литературного публичного пространства на семь с лишним лет. Но не из литературной жизни. Из Мордовии в Латвию регулярно приходят его стихи, несколько раз их обсуждает секция поэзии Союза писателей.

Мы хорошо знали лагерные стихи Кнута, которые мне всегда казались лучшими в его вкладе, но он не спешил с их публикацией и после выхода на свободу. Кнут: «Во-первых – я не хотел создавать культ из самого тяжелого периода своей жизни – семи лет заключения. То, что для меня, может быть, трагическое исключение, – для народа страшная историческая норма».

... «Что я могу о себе рассказать? Живу помаленьку, потихоньку, – пишет Кнут из Мордовии 30 августа 1963 года. – Радуюсь каждому дню, который прошел. Никакого особого творческого подъема тоже не замечается. Ничего более-менее развернутого не могу замыслить, потому что чуть что – натываюсь на отсутствие материалов. Розовые надежды себя розово накачать в разных отраслях знаний наверно так и останутся розовыми надеждами. Много интересного, но у всего этого – фрагментарный, случайный характер. Жизнь тут, несомненно, интересная и очень напряженная, но лишь до определенного времени. Потом начинает надоедать».

Поэзию читаю мало, потому что мало тут любителей поэзии, и нет книг. Однако, судя по газетам и журналам, которые примерно раз в неделю просматриваю, ничего достойного внимания, особенно в Латвии, нет. Единственная радость – получать в письмах какие-нибудь новые стихи, которые и меня накачивают на какое-то времечко.

Да, ничего легкого нет и не предвидится. Совсем наоборот. Еще тяжелее. Но ничто не вечно, не вечно и моя отсидка...»

Первые лагерные годы проходят в интенсивном прояснении самого себя. Это ярко отражается в письмах Кнута, 20 августа 1963 года он пишет: «Иди – дальше и дальше, совершенствуйся и развивайся.

Постоянно находишься в каком-нибудь процессе брожения и созревания. Не позволяй себе никогда преждевременно зачислять себя в классики. Быть классиком наиболее всего пригодно после того, когда ты съел весь хлеб и свел счета с жизнью. Будь всю жизнь начинающим. Чтобы на каждом новом этапе ты чувствовал себя начинающим, которому всё предстоит открыть заново. Для поэта не открыты ни Америка, ни атомное ядро, ни простейшие человеческие отношения

– всё он должен открывать сам, даже такие вещи, от банальности которых у людей в желудке повышается процент кислотности.

Что мне всегда нравилось в твоих суждениях – это понятие и идея честности. Понятие честности такой товар, который не на всех этапах развития общества имеет постоянную цену, иногда его ценность опасно падает, но по своей сути она неизменна, и это самая надежная гарантия достижений...».

... Пройдена большая внутренняя школа. В этом смысле Кнут похож на Курта Фридрихсона – удивительна способность обоих создавать вокруг себя необходимый контекст – вызывать персонажи, эпохи, перевоплощаться, идентифицироваться с ними.

Переломный пункт в развитии Кнута Скуениекса – принципиально новое решение темы Орфея и Эвридики в поэме «Не оглядывайся».

Вспоминаю, какую мне, заведующему отделом поэзии в газете «Literatūra un Māksla», пришлось выдержать в семидесятых годах борьбу с тогдашним редактором главным образом из-за одной главки, которая называется «Ознакомление с подписаниями»:

*Пес Цербер – с тремя головами – сидит,
с одной головою – брат Зевса Аид,
и целая свора –
совсем без голов,
с козлиною вонью*

[Перевод Юлия Даниэля]

Я. Шкапарс (редактор – прим. ред.) не очень-то разбирался в поэзии, но эти простые аллегории для инструктора ЦК были легко узнаваемы.

«Не оглядывайся» и поныне самое близкое мне произведение Кнута, поэтому я не удивляюсь, что в первой же подписанной мною как редактором газете «Literatūra un Māksla» 10 апреля 1987 года была напечатана эта поэма.

«Главная общая ценность поэзии – это ее масштаб. Без большого масштаба не может быть большой поэзии», – пишет Кнут в сентябре 1965 года из Мордовии.

... «То, что я здесь пишу, конкретно ни к кому не относится, но – относится ко всем. Вопрос о смелости не снят с повестки дня. ...она в Искусстве с большой буквы – органичная составная часть... Из-за своих мещанских взглядов многие не понимают по-настоящему, что уже серьезное объявление себя поэтом, заявление о себе, – само

по себе есть акт смелости. А если понимают, то не заявляют о себе с достаточной серьезностью.

Искусство – борьба: в любом месте, времени и обстоятельствах. Человек, который создает видимость боя и стреляет в подвижные картонные и фанерные цели, – дилетант, не более того. Для него чуждой была и остается сущность искусства. Даже если он всегда попадает в десятку и ему предрекают блестящие возможности, он все-таки дилетант ...».

... Вернувшись из лагеря, Кнут на другой же день пришел в Союз писателей, и был встречен восторженно. Это слова Кнута – что «уже с 1965 года до самой Атмоды Союз писателей в большей или меньшей степени был для партии и правительства политически нежелательной организацией».

Сам Кнут никогда не пытался свои 7 лет лагеря разыграть как политическую или хотя бы патетическую карту.

Когда я спросил, не собирается ли он писать лагерные мемуары, Кнут мне ответил: «Если бы я вдруг что-нибудь стал писать о лагере, то – разве что музыкальную комедию».

А на вопрос журналиста, за что ему присвоен орден Трех звезд, Кнут отвечает так же просто, как всегда:

«Если бы я это знал! Я надеюсь, что это не компенсация за лагерь, а награда за мою работу.»

Потому что я вышел из лагеря не только как пострадавший, но и с написанным там сборником стихотворений «Семя на снегу», который вышел в 1990 году. Эти стихи – о внутренней борьбе с лагерем, а не о лагере».

Лучшая часть стихов Кнута изображает внутреннее освобождение человека от навязанного духовного гнета, а также от собственной слабости, эгоцентризма, почесывания собственного пупа, иллюзий, мусора. Человек не ожесточается, остается открытым миру в светлых своих причудах, озорстве, жизнелюбии. Только так обретается «тайная свобода», которой всегда жаждала поэзия всех эпох и которая всегда была путеводной звездой поэзии.

ПТИЦА ФЕНИКС С МОНОКЛЕМ НА ЧЕРНОМ ШНУРКЕ

Петр Пильский в русской эмиграции был фигурой заметной и почитаемой. О себе он говорил – я человек бывалый и опыт у меня небывалый. В смысле – помытарила его жизнь, помотала по городам и весям. По России поездил, и в Бессарабию заносило, и в Польшу... А последнюю треть отпущенных ему лет он прожил в Риге. С заездом ненадолго в Таллинн.

Но, несмотря на весь его «небывалый опыт», глядя из дня сегодняшнего, можно сказать, что от самого страшного, что выпало пережить многим его современникам, судьба Петра Пильского уберегла. Пильский умер в 41-ом, так и не перешагнув во вторую половину той сложной эпохи, которая называется двадцатым столетием. Вторая мировая война, ее исход и последствия, до сих пор определяющие наше житье-бытье, для него просто не состоялись.

И еще одно: Петр Пильский хоть и был человеком шумным, общительным и компанейским, в свою личную жизнь никого не впускал. Поэтому известно о нем немного. Информацию приходится собирать по крупицам, и она достаточно противоречива. Но ясно одно: жизнь у него задалась сразу. Вот только метил он в прозаики (о его юношеских рассказах многие отзывались чуть ли ни с восторгом), но, в конце концов, верх взяла журналистская жилка.

Самое раннее упоминание о нем, как о человеке уже определившемся и получившем имя, я нашел в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Это конец 18-го, начало 19-го года. Киев. Власть в городе непонятно чья. Эренбург ироничен и язвителен:

«Петр Пильский, который в дореволюционные годы был известен тем, что высмеивал поэтов-символистов, издавал в Киеве юмористический журнал «Чертова перечница». Посмеяться было над чем: гетман, поставленный немцами, спешно разучивал «Марсельезу»; мосье Энно говорил, что он за гетмана, и предлагал Директории снабдить ее оружием; правительство новой Германской республики

называло себя социалистическим и договаривалось с французскими генералами о военном походе на Советскую Россию. Об этом в «Чертовой перечнице» не было ни слова: перец молот не черт, а петербургский литератор, который знал, что вскоре ему придется просить визу – французскую или немецкую».

Более детально характеристику дает Пильскому Марк Слоним: «Были в нем замашки и привычки богемы, он дневал и ночевал в кафе и ресторанах, обожал разговоры до утра в каком-нибудь «литературно-артистическом клубе», любил возбуждение от вина, атмосферу дружбы, споров и ссор, перекрестный огонь шуток и эпиграмм, игру флирта и влюблений, беспорядок и толчею случайных вечеринок и непринужденных пирушек».

Пильский всегда, как отдушину, вспоминал газетно-журнальную жизнь в России после первой революции. Сам он вырос в Москве, жил и вращался в изысканной литературной среде, где блистали Аверченко, Саша Черный, Куприн, Блок, Чуковский.

Еще один портрет Пильского с натуры оставила нам Ирина Сабурова в романе «Корабли Старого Города», он там фигурирует под вымышленным именем: «Караваев грузно сидит, опираясь на палку с малахитовым набалдашником. У него полные, очень белые, слишком маленькие для мужчины руки, седая грива, орлиный профиль, монокль на черном шнурке. Один глаз всегда полузакрыт тяжелым веком, как у задумавшейся птицы, на губах улыбка /.../ Разговоры с Караваевым заключались в том, что он произносил монолог, а собеседникам оставалось восхищаться и вовремя подавать реплики. Говорить Караваев мог обо всем и обо всех сколько-нибудь знаменитых людях, от Мамонта Дальского до Александра Македонского, так как любые воспоминания сводились к тому, что именно, когда, где и как он, Караваев, видел, сказал и ответил».

Несколько иное описание я прочитал уже не помню где: «У Пильского была ироничная лисья мордочка с умными недобрыми глазами». И там же, как нож в сердце: «Петр Пильский – маленький, тщедушный, озлобленный...»

Сложный, конечно, он был человек, не простой. Любил

прятаться за псевдонимами, словно боялся скомпрометировать себя недостойным его текстом. Свой детективный роман «Тайна и кровь», на который потратил уйму времени, энергии и фантазии, Пильский, не поверив в себя, издал под псевдонимом Петр Хрущов. Под своей собственной фамилией он позже издаст пару книг воспоминаний – «Загуманившийся мир» и «Роман с театром». Это записки о людях, с которыми Пильский был хорошо знаком. Обе книги воспоминаний и роман Хрущова – то небольшое, что можно легко отыскать после него в библиотеках.

Революция застала Пильского в Петрограде, где на пару с Куприным он редактировал эсеровскую газету «Свободная Россия». После революции Пильский поработал недолго в сатирическом журнале «Эшафот», потом подался в Киев – издавать ту самую «Чертову перечницу», которая упоминается в мемуарах Эренбурга.

Его статьи и рецензии – литературные и театральные – обильно рассыпаны во многих российских средствах массовой информации тех лет. И, в частности, на страницах рижской газеты «Сегодня» и еще нескольких здешних изданий. Но выйти на них не просто из-за того, что он часто подписывался не своим именем. А псевдонимов у Пильского было большое количество. Его и по жизни называли по-разному – кто Павлом Моисеевичем, кто Мосевичем или Мосеичем, а то и вовсе Осиповичем.

Пильский умер, когда в Ригу вошли немцы.

Сперва у него случился инсульт – перед самым приходом советских войск. И сразу к нему на квартиру явились с обыском: перерыли все, унесли весь личный архив, после чего его и разбил паралич. Хотя, что искали, не ясно. Повод для ареста? Так ведь забрать могли и без повода, просто за политический памфлет многолетней давности. Считается, что Пильского не арестовали только из-за паралича. А так мог загреметь под расстрел – за побег в 1918 году из-под следствия. Тогда дело Пильского расследовалось в ревтрибунале. Друзья чудом выцарапали его на время на поруки, под расписку о невыезде. А он – деру, на Юг и дальше.

Пильского в 1918 году собирались судить не просто как антисоветчика, но конкретно за печатный поклеп на большевиков и советскую власть. Статья называлась «Смирительную рубашку!». По словам Куприна, автор в ней со всей серьезностью, опираясь на новейшие достижения психиатрии, диагностировал лидеров большевистской партии «по видам их буйного сумасшествия» и настаивал на принудительном лечении «с применением горячечной рубашки».

Через три года беглец осел в Латвии, рассчитывая, что тут до него не доберутся. В Риге Пильский жил по-королевски. Почти сразу получил место в очень популярной газете «Сегодня». Был вхож в самые высокие круги русской эмиграции, почитаем, привечаем и уважаем.

Все его газетные статьи о литературе и театральные рецензии читались обычно с большим интересом. Он писал пышно, цветасто, с претензией на художественность. Считал себя импрессионистом и отчасти таковым и являлся. Только отчасти, потому что хоть и ставил импрессию – то есть впечатление – во главу угла, но не столько свое от увиденного спектакля, сколько впечатление читателя от своей статьи. В театральной среде он был душой общества и считался чуть ли ни живым классиком русской критики.

В России, ни в Москве, ни в Питере, он таким престижем при всех своих талантах никогда не пользовался бы. Там он был одним из многих, а в Риге... Уже в наше время о рижском периоде жизни Пильского кем-то сказано с придыханием: «он читал лекции и проводил бесчисленное множество литературных вечеров. Он был поистине почтовой лошадейю просвещения. То, что в Париже совместными усилиями делали в области критики Г.Адамович, В.Иванов, В.Вейдле, Вл.Ходасевич, в Риге проделывал один Пильский».

Был ли он сам удовлетворен своей деятельностью?

Двадцать лет просидеть в одной газете – не шутка. Правда, «Сегодня» пользовалась широкой популярностью не только в Риге. Газету читала почти вся европейская русская диаспора. Возглавляя отдел, Пильский имел возможность привлекать всех, кого считал нужным, и печатал у себя многих лучших авторов того времени – Булгакова, Куприна, Бунина, Северянина, Шмелева, Бальмонта... И все же какой-то червь точил его душу.

Он был мастером литературно-мемуарных очерков, но в каждом из

них неизменно скатывался в российскую жизнь. Такое впечатление, что русские рижане ему были неинтересны. А ведь в 20-30-е годы здесь жило немало известных людей, и, в отличие, например, от послевоенного и уж тем более нынешнего периода, литературная жизнь в Риге, действительно, была ключом. Но...

В одном из очерков он пишет, что рижская писательская среда слишком уж тиха и невыразительна. На ней «лежит оттенок некоторой внутренней и даже внешней чопорности. Она чувствуется и в костюмах: чаще всего встречается черный цвет пиджаков и смокингов. Здесь отсутствует душевная интимность. Редки шутки и едва ли можно создать дружеский юмористический журнал (до бегства из России Пильский сотрудничал преимущественно в юмористических журналах. – Г.Г.) с веселыми эпиграммами, приятельскими пародиями, словесными карикатурами, смеющийся дневник-летопись наших дел, промахов, вечернего литературного безделья».

Пильский всегда, как отдушину, вспоминал газетно-журнальную жизнь в России после первой революции. Сам он вырос в Москве, жил и вращался в изысканной литературной среде, где блистали Аверченко, Саша Черный, Куприн, Блок, Чуковский. Затем недолго служил в армии в Минске и, вернувшись опять в Москву, с головой и навсегда ушел в литературную жизнь. Вспоминал об этом времени: «Тогда беззаботно жилось, и душа весело прыгала, как весенняя птица в золотой клетке, и перо легко бежало по бумаге, и мысль летела дерзкой стрелой, и все казалось таким простым, таким достижимым, будто забавляющийся принц вышел на утреннюю охоту». Это я цитирую одно из рижских эссе, напечатанное в 1925 году.

Революция застала Пильского в Петрограде, где на пару с Куприным он редактировал эсеровскую газету «Свободная Россия». После революции Пильский поработал недолго в сатирическом журнале «Эшафот», потом подался в Киев – издавать ту самую «Чертову перечницу», которая упоминается в мемуарах Эренбурга.

Короче говоря, Пильский был на самом взлете и нарасхват, когда черт дернул его поместить в «Петроградском эхе» свой фельетон «Смирительную рубаху!». Московские и питерские журналы и газеты печатали его фельетоны, статьи и даже стихи охотно и часто. Он чувствовал себя начинающим писателем, которому в будущем грезилось многое. И, действительно, он был на очень хорошем счету,

так что ничего удивительного, что группа тогдашних литературных знаменитостей подала в ревтрибунал бумагу с прошением отдать им талантливого литератора на поруки...

А вот заканчивать жизнь, как ни досадно, пришлось, на европейских задворках. В провинциальной, как ему казалось, Риге. В Латвии, где ему как литератору ничего не светило. Он считал, что почва здесь какая-то не литературная. Не способная рожать ни мудрецов Платонов, ни быстрых разумом Невтонов. Потому все его воспоминания – и книга «Затуманившийся мир», и «Роман с театром» – были повернуты лицом к России.

Может, в глубине души он еще на что-то надеялся? И не потому ли антисоветские настроения Пильского после ульманисовского переворота тоже поутихли и сошли на нет? Петр Якоби обронил такую фразу, что после 34-го года Пильский «Советский Союз больше не задевал».

...Тоска заедала. Пильскому катастрофически не хватало русского креатива. Газетная рутина стала его доставать. И попивать стал больше обычного. Похоже, эта во все времена широко распространенная не только в Риге болезнь не обошла Пильского стороной. Куприн как-то мельком упомянул, что рижские письма Пильского так «пропитаны ромом», что не всегда удается разобрать, что он написал.

Особая статья – его многолетняя дружба, несмотря на разницу в возрасте, с Федором Шаляпиным. Почти все свои рижские гастролы Шаляпин не расставался с Пильским. Они даже вместе собирались купить где-нибудь под Ригой дом на деньги Шаляпина...

Все чаще и чаще, как болезнь, Пильского тянуло на воспоминания о журналистской жизни в России. Там он даже – смешно сказать – ударился в просветительство. Создал первую в России Школу журнализма. Решил, что необходимо обучать одаренную, начинающую ребятню, как надо работать в СМИ. Обучение было поставлено на широкую ногу. Лекции и занятия проводились по сорока двум предметам. В школе преподавали лучшие профессора, доценты и журналисты Москвы. Но это уже был 18 год – год проклятой «Смирительной рубахи», когда пришлось срочно «делать ноги».

Почему-то в Риге просветительские идеи по части пишущей молодежи Пильскому в голову уже не приходили.

Рижская жизнь, короче говоря, казалась ему рутинной, от которой спасал только театр. Как спасает в знойный, душный день прохлада полупустого кафетерия. Даже в самом прямом смысле: весной ли, осенью иногда стояла, – скажем, в мае или в сентябре, – такая жара, от которой в городе спасу не было. А зайдешь в театральное фойе, как будто в другой мир попал.

... Театральному критику нужно знать не только сценическое искусство, но еще и многие закулисные отношения и связи, чтобы не быть пойманным в сети интриг, взаимных счетов и хитрости...»

Театр – это вообще всегда что-то особенное. Если, конечно, отношения у тебя с ним нормальные. Это совершенно необычная праздничная атмосфера; для того, чтобы прочувствовать ее, достаточно прийти в театр минут за сорок, тридцать до начала спектакля. Когда еще нет никого из зрителей. Сидишь один в буфете за чашкой кофе, чая или чего-нибудь покрепче и смотришь, как постепенно стекается народ. Как праздная публика заполняет буфет. Как театральные программки сперва откладываются в сторону будто что-то лишнее: пока не подкрепятся, программку никто не открывал. А ты наоборот углубляешься в нее, деловито просматриваешь список исполнителей, кто что играет. И вот уже, пока остальные заняты своим кофе с пирожными, у тебя складывается образ спектакля и в голове мелькают первые фразы будущей рецензии. О чем писать, еще не думаешь, но блаженное чувство покоя охватывает, когда пробегая глазами перечень исполнителей или аннотацию к спектаклю, вдруг откуда-то всплывает первая фраза будущей статьи, а то и несколько. Ведь это важно – правильно начать статью, чтобы зритель, видевший спектакль, через пару дней раскрыв газету, зацепился глазом за первый абзац. Тогда он уже непременно прочтет всю рецензию.

Театральные статьи Пильского в «Сегодня» всеми читались с интересом. Часто они были резкие, иногда покладистые и очень редко снисходительные. Недаром героиня романа Сабуровой «Корабли Старого Города», выступившая в роли драматурга, смертельно боялась

увидеть на своем спектакле «сурового критика» и так же сильно хотела, чтобы он пришел и высказал свое мнение.

Обычно сам Пильский испытывал от своих театральных статей гораздо большее удовлетворение, чем от всего, что писал о литературе. Наверное, потому, что театр для него составлял часть реальной жизни, свершившейся только что, на его глазах. Пильский был вхож в коллектив Русской драмы, можно сказать, жил с ним, участвовал в его делах. Да и зрителя он тоже прекрасно чувствовал. Но главное, благодаря всему этому, его театральные статьи не ухали безответно в какую-то неведомую пропасть, как брошенный в колодец камень, а вызывали живой отклик. У актеров, у зрителя, наконец, дома. Как-никак жена Пильского прекрасно разбиралась в театральных делах, ведь она была актрисой.

Елена Кузнецова служила в труппе Ревельского Русского театра. Так что, кстати говоря, совсем не случайно, недолго побыв в Риге – куда он прибыл в 21-ом, – Пильский отправился в Таллинн и прожил там ни много, ни мало с 1922 по 1926 год. Скорей всего он там и остался бы из-за жены, если бы не известная на всю русскую диаспору газета «Сегодня», выходявшая, к сожалению, в Риге. Что он будет работать в ней, Пильский знал наверняка. Больше просто негде было.

Ну и, наконец, Пильский был на короткой ноге со многими известными людьми рижских театров. Вообще у него, кроме сибаритского желания постоянно получать удовольствие от участия в гуще театральных событий, была на этот счет совершенно твердая позиция критика. В своем эссе «Литературные края», еще будучи в Ревеле, он в 1923 году напишет об этом очень подробно. Преподаст, так сказать, всем маленький урок:

«Предостерегаю вас от претензий на роль театрального рецензента. На это амплуа хотят все. Есть возраст, которому льстит знакомство с актрисами и вселяет гордость сознание, что он может влиять на судьбы и интересы театра. Кроме того, кому не хочется иметь бесплатное место в театре? Но помните, что рецензентское место требует очень больших знаний и жертв. Театральному критику нужно знать не только сценическое искусство, но еще и многие закулисные отношения и связи, чтобы не быть пойманным в сети интриг, взаимных счетов и хитрости...»

Пильский прекрасно ориентировался в закоулках театрального

закулисья и был на короткой ноге со всеми, с кем считал нужным быть знакомым. Хорошо знал Михаила Чехова, который долгое время, до самого отъезда в Америку, работал режиссером в латышском драматическом театре. Знаком был и с Фокиными, и с Александрой Федоровой, которую даже в советское время у нас называли бабушкой (в смысле прародительницей) латышского балета, и со многими актерами рангом пониже. Особая статья – его многолетняя дружба, несмотря на разницу в возрасте, с Федором Шаляпиным. Почти все свои рижские гастролы Шаляпин не расставался с Пильским. Они даже вместе собирались купить где-нибудь под Ригой дом на деньги Шаляпина...

О каждом из этих «великих чудищ», о спектаклях с их участием Пильскому приходилось писать постоянно. Но больше всего им написано о Русской драме. Ее он ставил необычайно высоко: «Это подлинный театр, – говорится в одной из его статей. – Ее состав, ее негасимая жажда репертуарного обновления, ее декорационная живописность, опрятность постановок, репетиционная тщательность покорили сердца театралов, создали почетное имя большого, хорошего Русского драматического театра».

Театр Русской драмы он посещал до последней возможности. И в последний свой год, когда он, парализованный, лежал после инсульта в постели, Пильскому больше всего не хватало вот этого волшебного ощущения праздничности, которое он ощущал каждый раз, войдя в людное театральное фойе.

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ПЕТЬКИ НА ДАЧЕ

Первый «пионерлагерь» на Рижском взморье появился в конце 19 века благодаря русским купцам.

Сегодня, когда старшее и среднее поколение начинает вспоминать свое советское прошлое, одним из главных достижений развитого социализма ими называются пионерские лагеря, где любой ребенок мог совершенно бесплатно отдохнуть летом на природе. Однако детские летние лагеря – вовсе не советское изобретение. Еще в конце 19 века под Москвой, Петербургом, Ригой и другими крупными городами российской империи появились так называемые летние колонии, которые создавались богатыми купцами и промышленниками.

МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Именно во второй половине 19 века выезд на дачу стал неотъемлемой частью жизни горожан, принадлежащих к самым разным социальным слоям. Дачи могли себе позволить и аристократы, и купцы, и интеллигенция, и служащие.

Однако за границей этого дачного пространства оставалась достаточно большая масса людей – семьям рабочих и мелких служащих была не по карману даже самая дешевая комнатка в дачном пригороде, и их дети, выросшие в городских трущобах, никогда не жили не то, что на даче, но даже не выезжали за границы города.

Достаточно вспомнить рассказ Леонида Андреева «Петька на даче» – трогательная история городского десятилетнего мальчика, который «не знал, что такое дача». Петька, как и все дети городской бедноты, был дитя улицы, дитя города и ни разу в жизни не видел даже поля и леса! Неслучайно Андреев называет Петьку «современным дикарем», то есть дикарем наоборот: дикари минувших веков терялись, когда попадали из мира природы в город, а этот испытывает потрясение, впервые выехав в дачный поселок.

Возвращение в город вновь превращает Петьку в апатичное и сонное существо, и только ночью он оживляется, рассказывая своему товарищу о даче – о том, «чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал».

Для таких маленьких дикарей в конце 19 века в пригороде Петербурга и появились первые дачи, сдаваемые на лето детским приютам, пансионатам, благотворительным заведениям. Дача стала важной составляющей модели счастливого детства – детства, когда у ребенка имелась возможность слиться с миром природы. И богатые люди решили подарить немного счастливого детства и детям из бедных семей: в начале 20 века такие детские колонии стали уже распространенным явлением в России.

На Рижском взморье первые летние колонии открылись также в конце 19 века. В книге латышского историка Петериса Белта «Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsētas ar apkārtni» упомянуто, что в Меллужи в 1884 г. на ул. Озола 4 в доме Бера была открыта Красным крестом детская летняя колония для 12 девочек. Колония работала постоянно, и число воспитанников в ней ежегодно увеличивалось: в 1885 их уже было 18, в 1886 – 32.

В начале 20 века детские колонии даже совершали настоящие путешествия. Так в газете «Рижский курорт» за 1910 год помещено сообщение: «30 мая в Кемери ожидается приезд детской колонии из Петербурга «русского общества охранения народного здравоохранения». Вся колония состоит из 40 девочек и 60 мальчиков, воспитывающихся в детских приютах».

ПРИЗРЕТЬ БЕДНЫХ

Русские купцы Риги тоже внесли свою лепту в организацию дачного досуга для бедных детей, и свидетельством тому служит работа детской колонии в Дуббельне, которую открыло рижское Русское Благотворительное общество в 1886 году.

Общество возникло в 1863-м году по инициативе богатых рижских купцов. Их «беспокоило то, что детвора бедных русских семейств росла в одичалом состоянии, вне школ», а «русское население Риги в середине 19 века состояло в основном, за исключением немногих крупных купцов, из рабочего люда, который ютился в предместье города, именовавшемся тогда Московским форштадтом».

Это строки из брошюры 1928 года, которую выпустило Благотворительное общество к пятилетию возобновления своей деятельности. Немного странное название праздника, связанное не с началом, а с возобновлением деятельности. Однако надо учитывать то, что во время первой мировой войны общественные организации прервали свою работу: Ригу тогда покинули сотни тысяч человек, многие из которых не вернулись обратно, что привело к самоликвидации большинства прежних обществ.

Благотворительное общество вместе со своими воспитанниками тоже было эвакуировано в Орловскую область, но в Латвию вернулось 24 его бывших члена. Они и восстановили работу общества в 1922 году, уже на территории независимой Латвийской Республики. Они же сохранили историю старейшей русской организации Риги, и ее имущество.

В брошюре 1928 года сказано, что в 1886 году купчиха Александра Камарина дарит приюту благотворительного общества двухэтажную деревянную дачу в Новом Дуббельне, а купец Иван Мухин рядом с этой дачей строит еще один двухэтажный дом и просторную столовую, а также выделяет полное обзаведение для летнего отдыха детей.

Помимо дач на Рижском взморье местные купцы передали обществу еще несколько зданий в Риге – три приюта и Александровское училище, но возврат собственности в 20-е годы проходил непросто, к тому же эта недвижимость находилась в очень плохом состоянии.

Денег на благотворительность у местных русских почти не было, учитывая те потери, которые понесли бывшие меценаты, и то возросшее число русских семей, нуждавшихся в помощи. Ведь к коренным обитателям Московского форштадта теперь прибавились эмигранты из советской России, многие из которых прибывали в Латвию буквально с одним чемоданом.

В 1923 году после судебного процесса дома на взморье были возвращены. Мухинская и камаринская дачи оказались в плачевном состоянии: двери и оконные рамы сорваны, полы выломаны, лестницы разрушены, крыша протекает. Два года ушло на то, чтобы привести здания в порядок. Детские голоса там зазвучали только летом 1927 года.

Конечно, возобновить дореволюционные традиции удалось только с помощью новых благотворителей. Среди меценатов – как

частные лица, в том числе известные еще с 19 века рижские купеческие фамилии Поповых, Нестеровых, Алихановых, так и предприятия. В частности, АО «Майкапарс», завод «Феникс», АО «Саламандра» и газета «Сегодня». Суммы пожертвований разные: от 50 рублей до 12-13 тысяч рублей от фирм Кузнецовых, Камкиных и Трофимовых.

В последующие годы благотворительному обществу удалось заручиться помощью государства и самоуправления, что существенно облегчило работу летней колонии. Как пишет историк Татьяна Фейгмане в своей книге «Русские в довоенной Латвии», в 1927-м году по ходатайству депутата М.А.Каллистратова общество получило на эти цели государственную субсидию в размере тысячи латов.

В 1933 году в Дуббельнской колонии отдыхало 114 ребят, и только 50 – за счет самого общества, за счет государства – 8 детей, самоуправления – 26, больничных касс – 11, отдела соцобеспечения – 12, родителей – 7. Однако в конце 30-х годов государство прекратило субсидирование колонии, и основная тяжесть расходов легла на членов общества и родителей. Лишь в 1940-м году, накануне судьбоносных для Латвии событий, на помощь детской колонии пришло акционерное общество «Майкапарс», ассигновавшее на ее содержание 779 латов 50 сантимов.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ

Так случилось, что о существовании этих дуббельнских дач знали многие современные исследователи, но вот их адрес как-то установить не удавалось. Не назван он был и в отчете Русского Благотворительного общества за 1928 год, лишь указано – «в Дуббельне, близ Православной церкви». С помощью одного из депутатов Юрмальской думы автору настоящих заметок удалось это сделать.

Выяснилось, что находились дачи на улице Стрелниеку, 42. Земельный участок занимает площадь 3642 кв.метра. Дачи сохранились до сих пор, поскольку в советское время купеческие дома и близлежащие здания были отданы пионерскому лагерю им. Ю.Гагарина. Нынешнее состояние этих исторических зданий очень напоминает то, каким оно было в 20-е годы: разбитые окна, выломанные двери, а большая дача Камариной наполовину сгорела.

К сожалению, не сохранились свидетельства о том, как проходила дачная жизнь воспитанников этой колонии до первой мировой войны,

но имеется достаточно много публикаций, относящихся к 30-м годам. Русские газеты «Сегодня» и «Сегодня вечером» каждое лето освещали работу детской колонии. Правда, все эти сообщения представляют собой сухие отчеты.

«Вчера состоялось закрытие детской колонии русского благотворительного общества, – пишет газета «Сегодня» в августе 1931 года. – Проститься со своими питомцами прибыла часть членов общества и много гостей. В свою очередь своих благотворителей дети порадовали исполнением хором латвийского гимна и хорошо разученной программой в постановке учительниц Л.В.Васюковой и В.А.Жуковой, состоящей из детских пьесок, оркестра из балалаек, мандолин и гитар, балета «Василек» и отрывка из «Женитьбы» Гоголя. После программы членами и гостями была осмотрена выставка рукоделия, выполненная детьми во время плохой погоды, как то: вырезание из фанеры, плетение из рафи, рисование и аппликации.

За чашкой чая председательница Е.С. Шиллинг прочитала отчет содержания колонии, выразившийся в следующей сумме: ремонт помещения – 2513, приобретение инвентаря – 2689 и содержание детей – 3383. Всего 8585 латов, на покрытие которых от членов общества поступило 3192, остальная сумма была покрыта устройством лотереи и вечеров. Член гордумы Кривошапкин благодарил членов общества за труды, принесенные на пользу молодого поколения. Вечером часть детей была забрана своими родителями, оставшиеся на следующий день будут доставлены в Ригу. Председательнице общества детьми был поднесен ее портрет с просьбой повесить его в колонии».

Несколько лет назад, беседуя с выпускницей довоенной Ломоносовской гимназии Надеждой Федоровной Ильянок, удалось записать ее короткие воспоминания об этой колонии. Надежда Федоровна отдыхала там в конце 30-х годов.

«– Ой, не любила я эти летние колонии, куда меня родители иногда отправляли в детстве!» – воскликнула Надежда Федоровна. – Я была маменькина дочка, и мне тяжело было уезжать намесяциздома. Однажды меня отправили в Яундубулты. Мне лет 10, наверное, было. Ничего общего в этих колониях с пионерскими лагерями не было! Утром вставали, молились, делали зарядку и после завтрака шли на пляж. В полдень уже с моря уходили. Потом обед,

сон, а вечером – всевозможные занятия: чтение, рисование, шитье. Помню, я тогда домой привезла целый чемодан с нарядами для кукол – все сшили в колонии! А на следующий год, к моей радости, папа снял дачу, и мы уже отдыхали вместе всей семьей. Конечно, не в Юрмале. Папа был простым бухгалтером на Кузнецовской фабрике, поэтому мы могли себе позволить только дачу в Ропажки или Инчукалнсе».

Дети из бедных семей по-прежнему получали счастливую возможность пожить на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни с четким распорядком (сон после обеда, зарядка), а вечерние занятия чтением, рисованием и шитьем являлись важной составляющей того самого процесса воспитания и образования детей, находившихся в «одичалом состоянии».

Надо отметить, что героиня интервью Надежда Ильянок не относилась к числу таких семей. Девочка, правда, выросла на форштадте, но в интеллигентной семье: ее отец, будучи бухгалтером на фабрике Кузнецова, организовал там библиотеку для рабочих, сам увлекался чтением и приобщил к литературе свою дочь, которая после войны стала учительницей русского языка и литературы и проработала несколько десятков лет в 22-й рижской школе.

Нетипичным является и то, что дача для Надежды Ильянок не в диковинку – ее семья выезжала на лето из города, хотя и в более дешевые дачные поселки, чем Рижское взморье. А вот другие дети форштадта и спустя тридцать лет после написания андреевского рассказа были похожи на таких же современных дикарей, как Петька.

НА МОСКОВСКОЙ БЕЗ ПЕРЕМЕН

«Русские дети в дни кризиса (наблюдения учителя)». Так называлась статья в газете «Сегодня вечером» 1931-ого года. Учитель Ю.Новоселов из 7-й русской основной школы, в которой учатся дети рабочих Московского форштадта, описывает свое посещение квартир воспитанников.

«Нынешняя нужда кричит о себе. Ее мы видим и без посещения квартир. Достаточно посмотреть на обувь, в которой ходят дети», – говорит учитель, поясняя, что многие родители этих ребят остались без работы. В одной из квартир – женщина с ребенком на руках. В школе учится ее младший

сын Сережа. «А этот чей?», – удивляется учитель. Оказывается – дочери: та родила, а муж бросил, за внуком ухаживает бабушка. Женщина рассказывает также, что из 10 своих детей пятерых она схоронила.

«Мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что из 10 детей половина умерла. И, на мой взгляд, высокая смертность здесь происходит не столько от плохого питания, сколько от тяжелых, прямо невыносимых гигиенических условий жизни», – считает учитель. Следующая семья проживает в узкой комнате, более похожей на коридор. Она полна народу: хозяин с хозяйкой, два взрослых сына, две дочери-подростки, больная бабушка на кровати и младенец в передвижном стуле на колесиках. Все спят у печки вповалку, потому что потолок и стены в щелях.

«Иду на квартиру сапожника с толкучки, – продолжает свой рассказ учитель. – На мой стук раздается тоненький детский голосок. После некоторой возни у замка дверь робко открывается, и в меня впиваются восемь испуганных детских глазенок. Все четверо мал мала меньше... Все четверо босиком, некоторые в чулочках. В прошлый раз я застал только троих, самых младших. Старшая сестрица семилетняя Наташа – за няньку у соседней. Малолетние девочки-няньки – обычное явление на Московском форштадте. Немало таких няnek вынуждено преждевременно бросать школу».

Многие дети, говорится в статье, когда их родители на работе, сидят целыми днями взаперти. «Если пускать во двор бегать, сколько хотят, то обуви не напасешься, – говорят родители».

«Но в особо тяжелом положении – дети алкоголиков, – считает Ю. Новоселов, – не стану описывать убогих квартир, грязи, вшивости таких детей. Мне хотелось бы только сказать, что это самые обездоленные дети Московского форштадта, нужда которых вопиет о помощи».

Этот репортаж показывает, что для маленьких обитателей этого русского района Риги общественная дача в Юрмале была точно таким же чудом, какой стала дача в Царицыне для Петьки, и точно также благодаря этой даче те, на чьи плечи выпало «детство без детства», смогли хоть на месяц почувствовать себя детьми, беззаботными, сытыми и счастливыми.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В довоенной Латвии благодаря системе страховой медицины существовала целая сеть детских колоний при Больничных кассах, которые обслуживали профессиональные группы жителей ЛР, давая возможность отдыхать на природе и самим работникам различных организаций и предприятий, и их детям.

Так, дети временных рабочих имели свою колонию в Сигулде, дети учителей ездили в Латгалию, на берег Стропского озера, дети работников рижского самоуправления имели дачу в Кемери и колонию «Цирулиши» в Тукумской волости, дети железнодорожников проводили лето в Дубулты, дети липайчан отдыхали в колонии Бункской волости, дети елгавчан в Вилцской волости.

Сегодня, увы, традиции детского летнего отдыха полностью разрушены: нет ни пионерских лагерей, ни детских колоний. Для многих детей 21 века дача вновь превратилась в недоступную роскошь, в то «чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал».

ДЗИДРА И ВИКТОРИЯ ТУБЕЛЬСКИЕ

«...песок и море...»

МЕМУАРЫ

Мемуары Дзидры Тубельской (1922 – 2009) и ее дочери Виктории Тубельской (1944) уникальны: они охватывают почти весь двадцатый век; обе мемуаристки обладают зоркостью, умением выпукло изобразить увиденное и запомнившееся. Их память сохраняет характернейшие детали проживаемого времени, встреч с необыкновенными людьми – писателями, артистами, режиссерами, художниками...

«Семейная легенда гласит, что я родилась 7 ноября 1921 года в здании Наркоминдела на Кузнецком мосту. В свидетельстве о рождении проставлена дата 10 ноября, то есть день, когда вернувшийся отец*... один из первых дипкурьеров, меня зарегистрировал. С той поры и по сей день меня преследуют несуразности, связанные с датами, именами, кличками и пр. Уже одно имя Дзидра было абсолютно чуждо русскому уху и сверстники дразнили меня то гидрой, то выдрой. Мое позднее имя Зюка возникло уже по моей собственной инициативе. В Нью-Йорке отец повел меня на оперу «Чио Чио Сан». Я была очарована и самой оперой и именем служанки – Сузуки. Я тут же потребовала, чтобы меня впредь стали называть Сузуки. Со временем имя укоротилось до Зуки, затем претерпело некоторую руссификацию и превратилось в Зюку. Это имя осталось на всю жизнь. Далее – еще сложнее. Когда я вышла замуж за Леонида Тура, выяснилось, что Тур – его псевдоним, а настоящая фамилия – Тубельский. Во всех документах я стала числиться как Дзидра Тубельская, в то время как все друзья знали меня как Зюку Тур», – сообщает Д. Тубельская в отрывке

* Эдуард Яковлевич Кадик (1889–1939), родился в Лиенае, в крестьянской семье. В 1908 г. оказался на Урале, в г. Лысьва. Там он познакомился с моей будущей матерью Ольгой Михайловной Озол, тоже латышкой (1892–1987; примечание мемуаристки).

Виктория Тубельская – писатель. Живет в Москве.

Ниже – отрывки из воспоминаний.

из мемуаров, опубликованном в журнале «Наше наследие» (86\ 2008). Там же рассказывается о детских годах в Нью-Йорке, о первом муже Евгении Шиловском, о его матери Елене Сергеевне Булгаковой и о самом М. А. Булгакове.

МЕМУАРЫ ДЗИДРЫ ТУБЕЛЬСКОЙ

Проходя по проезду МХАТ, я встретила Игоря Владимировича Нежного, директора-распорядителя МХАТ, с которым познакомилась еще у Булгаковых. Он поинтересовался, чем я занимаюсь. Я ответила, что ищу работу. Он посоветовал мне обратиться к его брату, только что назначенному директором Дирекции Фронтовых театров. Я немедленно отправилась на малую Бронную, где размещалась Дирекция. Владимир Владимирович Нежный любезно со мной побеседовал и принял на работу в качестве заведующей литературной частью.

... Однажды в Дирекции с одноактной пьесой появился Петр Тур, один из знаменитых в ту пору драматургов, работавших под псевдонимом Братья Тур. Пьесу прочли, одобрили и предложили несколько мелких поправок. Беседуя с Петром Львовичем об этой пьесе, я спросила – а где же его соавтор, Леонид Тур. Оказалось, что во время последней поездки на фронт тот сильно простудился и из дома не выходит. В то время Туры были корреспондентами «Известий» и «Сталинского Сокола» и их фронтовые очерки регулярно печатались в этих газетах.

Мы условились вечером зайти к Леониду, чтобы внести поправки в пьесу.

Леонид в полосатой пижаме лежал на широкой кровати. Рядом с кроватью стояли меховые унты, сразу привлечшие мое внимание. Когда мы вошли, Леонид мигом вскочил и одним прыжком оказался в унтах, доходивших ему почти до бедер. Зрелище было забавное, и я расхохоталась. Как потом любил повторять Леонид, именно мой смех его мгновенно покорил.

... Хотя война закончилась, Туры продолжали находиться на военной службе в качестве военных корреспондентов, часто ездили в командировки в воинские части. Но если они находились в Москве, то каждое утро после завтрака Леонид отправлялся к Петру и они писали очерки в газету, сочиняли пьесу. Я не помню дня, чтобы они

не садились за работу.

... Только после долгих усилий Туров наконец освободили от обязанностей военных спецкоров «Известий» и «Сталинского Сокола» и они могли сконцентрировать все свое внимание на драматургии. В театре Вахтангова вышел спектакль по их пьесе «Кому подчиняется время» в постановке Александры Исааковны Ремизовой. Оформлять спектакль пригласили Николая Павловича Акимова, художественного руководителя Ленинградского Театра Комедии. Спектакль получился яркий, захватывающий и пользовался большим успехом.

С первого же дня знакомства с Акимовым я испытывала к нему глубокое уважение и восхищение. Он буквально излучал талантливость, как в своих театральных постановках, так и в своих работах художника. Его почерк был неповторим и узнаваем, в чем бы ни проявлялся.

В конце сороковых годов у Николая Павловича начался в Ленинграде период гонений. У него отобрали театр. Он приехал в Москву и поселился у Ремизовой, неподалеку от Вахтанговского театра, и сильно нуждался. Брать деньги в долг он наотрез отказывался, сколько ни предлагал ему Леонид и другие друзья. Тогда мы придумали, чтобы Николай Павлович написал мой портрет. Я стала ходить к нему в этот арбатский переулок позировать. Акимов написал два портрета – второй вместе с Витусей, ибо, как он говорил, не мыслит меня без моего, как он выражался, хвостика. Я до сих пор считаю его непревзойденным портретистом.

... 1946 год. ... Мы решили отправиться в только что открывшийся Дом Творчества писателей на Рижском Взморье. Мне очень хотелось туда поехать, познакомиться с родиной моих родителей. В первые послевоенные годы для поездки в Латвию требовалось особое разрешение, выдаваемое в КГБ. С понятным страхом я отправилась с Леонидом на так печально знакомый мне Кузнецкий Мост, где я неоднократно выстаивала в длинных очередях в надежде хоть что-нибудь узнать о судьбе отца. Я опасалась также, что мне как дочери врага народа и латышке наверняка не дадут разрешения на такую поездку. Однако имя Леонида Тура возымело действие, и разрешение нам было дано.

В июне мы отправились в путь. Поезд шел по сильно разрушенной войной местности: разбомбленные дома, поваленные деревья,

печально бродящие по руинам люди.

Наутро мы уже были в Латвии. Еще на рассвете я услышала на какой-то остановке перекликающиеся голоса и с удивлением поняла, что звучит латышская речь и я прекрасно понимаю. Я не могла оторваться от окна: чистые аккуратные домики, возделанные поля. Я невольно сравнивала это с виденным вчера. Трудлюбивые руки латышей делали все возможное, чтобы быстрее стереть следы войны. Я ведь знала, что и тут шли ожесточенные бои, и тут были сильные разрушения.

Но вот слева засверкала река Даугава, и появились вдали высокие шпили рижских соборов. Мы выгрузились из вагона и последовали за носильщиком на привокзальную площадь. Леонид с удивлением слушал, как я бойко договаривалась с таксистом по-латышски. Ехали мы по довольно разбитой дороге около часа и наконец справа между домами показалась полосочка моря. Наша цель была достигнута.

...Прошло несколько дней, и я опять увидела Олешу в его старой мятой шляпе. «В чем дело?» «Понимаете, Зюкочка, я терпеть не могу новых вещей...

Двухэтажный белый дом с колоннами стоял в великолепном парке. От моря его отделяла лишь полоса дюн. ... Мы разместились на втором этаже, в комнате, выходящей на огромный балкон. Столовая находилась внизу. Там стояло несколько столов, покрытых белоснежными скатертями. На каждом – вазочка с полевыми цветами. Царила атмосфера домашнего уюта.

За трехразовое питание полагалось сдать продовольственные карточки. Кроме того, на лимитную книжку давали дополнительные продукты в магазине в Лиелупе. Туда от нашего дома было километров пять, но я легко, усадив Вику в коляску, преодолевала этот путь по пляжу. Море и пляж очаровали меня с первого взгляда. Зелень прибрежных ив казалась невероятно яркой. Сосны оттеняли стволами золотистый песок и море, которое меняло краски в зависимости от окраски неба.

...В ту же пору Леонид познакомил меня с уникальным, удивительно интересным и чудачковатым Юрием Карловичем Олешей. Сутуловатый, небольшого роста, помятый, в нахлобученной кое-

как шляпе, он произвел на меня странное впечатление. Но едва он произнес первые слова, направил на меня лучистые глаза и улыбнулся хитро и застенчиво, я ощутила, что передо мной Личность с большой буквы. В то время многие писатели, актеры, режиссеры имели обыкновение встречаться часа в четыре дня в кафе «Националь» за чашечкой кофе и рюмкой коньяка. Там обсуждали последние новости театральной жизни, делились творческими проблемами – словом, своеобразный клуб. Стоило это недорого. Однако же случалось, что у Юрия Карловича нехватало необходимой суммы. Тогда он шел ко мне в Гнездиновский, звонил в дверь, но оставался на пороге, несмотря на приглашение войти. «Зюкочка, у вас не найдется до завтра...» и называл точную сумму рублей и копеек. Я, естественно, тотчас их ему протягивала. Если у меня не оказывалось точной суммы с копейками, он деньги не брал, повторяя, что ему нужна именно такая сумма. Я бежала к соседям менять свою купюру. Однажды, глядя на шляпу Олеша, Леонид шепнул мне: «Постарайся подарить Юрию Карловичу мою новую шляпу Барселино, она мне мала». Я дождалась подходящего случая и торжественно вручила шляпу Юрию Карловичу. Она ему была чудо как хороша. Прошло несколько дней, и я опять увидела Олешу в его старой мятой шляпе. «В чем дело?» «Понимаете, Зюкочка, я терпеть не могу новых вещей. Я ваш подарок обминаю на кресле и через пару дней шляпа будет нужной кондиции...»

... Популярность Дома Творчества в Дубулты, где действительно были созданы самые благоприятные условия для работы, росла с каждым годом. Все больше и писателей из Москвы, Ленинграда и других городов и республик стремились в Дубулты. ... Впоследствии даже появился термин «дубультовский период в советской литературе».

...Шел 1956 год, полный самых удивительных событий и новостей. Я получила открытку, предписывающую явиться в Военную прокуратуру по делу моего отца. После долгих лет неизвестности у меня ничего не было кроме извещения, что отец осужден на двадцать лет без права переписки. Я отправилась по указанному адресу на улицу Кирова, где находилась приемная Военной прокуратуры. В комнате за столом сидел человек в майорских погонах. Он устало спросил, что я хочу узнать. Меня крайне удивил такой вопрос, ибо я пришла по вызову и ему было прекрасно известно, что я хочу узнать наконец что-то о судьбе отца. Я старалась поспокойнее рассказать об аресте отца

и показала справки о его аресте и обыске. «Ваш отец был осужден на двадцать лет без права переписки по статье 58 и отбывал наказание на Севере». Я тотчас спросила, жив ли он. «А какая разница? Ведь он реабилитирован». От такого ответа я вскочила со стула и закричала: «Как какая разница? Ведь если он жив, я немедленно полечу за ним!!!» Мой крик очевидно услышали в соседнем кабинете, ибо дверь тотчас отворилась и на пороге возник полковник. «Что тут происходит?» Я стала взволнованно объяснять и тут услышала от полковника фразу, врезавшуюся мне в память на всю жизнь: «Разве вы не помните указания, майор, что мы должны быть вежливыми?» Указание получить вежливый ответ о судьбе невинно осужденного отца! Вежливый ответ на вопрос жив ли он! Вежливость, вот что волновало их в эти дни.

Через несколько дней мне выдали свидетельство о том, что мой отец посмертно реабилитирован. Все! Никаких компенсаций за потерянную квартиру и за многолетний моральный ущерб не последовало. Выдали только жалкую сумму за конфискованное имущество, никак не соответствовавшее его истинной стоимости. Просто вежливо реабилитировали!

...Однажды рано утром к нам в комнату прибежал директор Дома творчества Михаил Львович Бауман и слезно попросил меня выручить его: позвонили из Международной Комиссии Союза Писателей и приказали встретить на вокзале знаменитого писателя из Германии Булля, а тут, как на грех, казенная «Волга» оказалась в неисправности. Я тотчас спустилась и мы поехали в Ригу. Едва успели, побежали на перрон к уже приближающемуся поезду, к указанному вагону. В тамбуре стоял высокий плечистый мужчина – я обомлела: это был Генрих Белль, прибывший вместе с женой и двумя сыновьями. Так как мой немецкий оставляет желать лучшего, я обратилась к ним по-английски. Они заулыбались. Мы с директором тщетно искали глазами носильщика и, схватив по чемодану, повели именитых гостей к машине. Белль несколько озадаченно присматривался ко мне. Кое-как разместившись, мы покатали в Дубулты. Мне директор сказал, что жить гости будут в так называемом Белом доме, самом лучшем коттедже. Но даже там в комнатах не было ни ванной, ни туалета! Они же даже представить себе такого не могут! (В ту пору душ помещался в длинном бараке в парке, где на скамейках сидели в очереди желающие помыться). Не успели мы подняться в отведенные семейству Беллей

комнаты, как мадам Белль тут же спросила, а где же тут душ. Она бы хотела освежиться с дороги. Я попросила их подождать минутку и ринулась искать А.Б. Только он мог спасти положение! А.Б. действительно куда-то тотчас позвонил. Было велено разместить гостей на правительственной вилле. Она находилась совсем рядом с Домом творчества. Там были и душ и ванна и туалет и целый дом в их распоряжении. Но там не кормили. Я сказала, что зайду за ними, чтобы сопроводить на обед. В столовой вся семья с удовольствием уплетала нехитрые блюда, которыми потчевали писателей. После обеда я пешком проводила их обратно, сказав, что теперь они сами смогут найти дорогу в столовую Дома Творчества. Это опять озадачило Беллю. Он все продолжал ко мне приглядываться. Уже потом, когда мы ближе познакомились, он сознался, что встреча на вокзале и мой отличный английский подразумевали, по его понятиям, что я приставлена к ним от КГБ. Тогда почему же я перестала их опекать в первый же день?

... В тот год мне посчастливилось познакомиться с чудесным человеком – Эльвирой Затис, директором Латвийского Литературного фонда. Произошло это при следующих обстоятельствах: ей срочно понадобился человек, хорошо знающий английский, русский и латышский, чтобы принять зарубежных писателей. Кто-то ей сказал, что в Доме Творчества есть дама, отвечающая этим требованиям. Эльвира с присущей ей энергией тут же меня разыскала, попросила выступить в роли переводчика. Я с удовольствием согласилась. Выяснилось, что гостями Литфонда были венгры, но блестящие знатоки английского, так что трудностей не возникло.

Эльвира удивлялась, что я – латышка «московского разлива»: латышское произношение у меня безукоризненное.

... Мне кажется, что ни в каком ином месте не могло возникнуть такой творческой атмосферы, как в Дубулты. Думаю, сама природа помогала. Строгая, величавая, она не располагала к эмоциональным вспышкам, а направляла к спокойному созерцанию и осмыслению.

...Дом Творчества писателей после ввода в строй девятиэтажного корпуса продолжал оставаться действительным средоточием

писателей из всех советских республик. Многие знакомились друг с другом именно в Дубулты. Здесь завязывались тесные творческие связи. Находили друг друга единомышленники. В Доме постепенно установилась какая-то особая атмосфера взаимопонимания..

Сама собой возникла традиция вечерних «закатных» посиделок. На скамейке, возвышающейся над дюнами, откуда открывался великолепный вид на море в предзакатные часы, любили беседовать многие писатели, предпочитающие спокойно посидеть, а не отмеривать километры по пляжу. С этой скамьи ежевечерне созерцали неповторимую картину – погружение солнца в море. Одним из первых оценил это удовольствие Рубен Николаевич Симонов, которого я туда привела с пляжа отдохнуть. Он потом неоднократно повторял, что это величественное зрелище его удивительным образом успокаивает, и горячо меня благодарил за этот «природный спектакль».

С годами зрители этого «природного спектакля» менялись, но число их не уменьшалось. Теплыми ясными вечерами сюда приходил Арсений Александрович Тарковский. Могу гордиться тем, что он на протяжении ряда лет дарил мне свою дружбу. Я всегда чувствовала его симпатию ко мне и испытывала к нему глубокую признательность. Это был удивительно скромный, деликатный человек. Улыбка его была такой ободряющей и бодрой, что душа сама раскрывалась ему навстречу.

... Мне кажется, что ни в каком ином месте не могло возникнуть такой творческой атмосферы, как в Дубулты. Думаю, сама природа помогала. Строгая, величавая, она не располагала к эмоциональным вспышкам, а направляла к спокойному созерцанию и осмыслению.

Мне, одной из немногих, довелось стать свидетельницей гибели Дома творчества в девяностые годы.

Я так за свою сознательную жизнь полюбила Рижское взморье, что не мыслила себе лета вдали от него. Когда Латвия обрела независимость, с позволения латышских писателей я продолжала в течение нескольких лет приезжать с Викой в пустынный гулкий дом. На третьем этаже открыли две комнаты. Одну для нас, вторую для латышского поэта Арвида Скалбе, тоже приезжающего из Москвы. Деньги с нас брали только за электроэнергию.

Было непривычно тихо. Мерещились голоса тех, кто давно покинул эти стены. Вспоминалось все хорошее, что происходило здесь.

На следующее лето нам сообщили, что во владении Латвийского Союза писателей остался только бывший «детский» коттедж и в нем сдают комнаты. Домик был прекрасно заново отделан, народу мало. Тихо. Из окон виден прекрасный большой дом, которого некогда так ждали писатели. Ходили слухи, что он кому-то продан. Вскоре началась его переделка на квартиры, которые затем покупались богатыми людьми. Остальные коттеджи вернули наследникам их бывших владельцев. Так окончательно закончил свое существование Дом творчества.

МЕМУАРЫ ВИКТОРИИ ТУБЕЛЬСКОЙ

* * *

Виталию Бианки было трудно ходить. Огромный, очень полный, он большей частью сидел на открытой террасе Шведского дома (так назывался один из корпусов Дома творчества писателей) в плетеном из ивовых веток кресле за шатким круглым столом. Как под ножи ни подкладывали для устойчивости кирпичи, карандаши все равно катились к краю и норовили свалиться.

Однако Бианки работал за этим столом, стойко перенося его выходки. Для него, знатока природы, как говаривали в старину, «натуралиста», не было лучше места, чем эта терраса, выходящая в лес на дюнах. Лишенный счастья активного движения, Бианки мог отсюда наблюдать за птицами и белками.

Я очень любила его книжки о животных, и меня водили к Бианки в гости. Я надоедала ему вопросами. Как у дятла не отваливается голова от долбления? Ведь он ею бьет по стволу с ужасной силой. Почему в песнях черных дроздов, перепархивающих в кустах жасмина, живет эхо? Как у них получается так гулко? Почему у соек такое яркое розово-голубое оперение, соперничающее с попугайным? Бианки щедро делился со мной своими знаниями, но вдруг посреди объяснений замолкал и прижимал палец к губам: раздавалось долгожданное цоканье. Две белки носились наперегонки по стволу сосны по спирали, обдирая коготками тонкие пластинки коры. Пышные оранжевые хвосты так и мелькали. Бывало, что белки даже спускались в траву, совсем близко от нас, и, найдя что-нибудь съестное, садились на корточки, показывая белое брюшко и заложив хвост

за спину. Меня восхищало, что шишку или гриб они грызут, держа передними лапками, как люди. В этих созданиях самой главной чертой была быстрота. Они расправлялись с шишкой как будто торопились на поезд, который уходит через минуту.

Как-то Бианки сказал мне, что на дюны прилетают редкие птицы – удоды, но он сам, к сожалению, не может их подкараулить. Я восприняла его слова как важное поручение.

С тех пор я каждый день лазила по дюнам в поисках удодов, попутно выковыривая из плотных гнездышек и отправляя в рот прозрачные ягоды костяники. Заросли голубой осоки я старательно обходила – ее острые по краям листья, длинные и узкие, как будто нападали сами. Раз – и на ноге выступала полоска мельчайших капелек крови.

... Какой бы холодный ветер ни дул с моря, дюны хранили тепло. Здесь горьковато пахло корой ивняка, который выполнял тяжелую работу – постоянно удерживал своими длинными корнями песок, предохраняя дюны от разрушения. Все остальные растения – осока, костяника, шиповник, молодые сосны и березки помогали ивовым кустам – у них тоже были длинные корни, прошивающие песок во всех направлениях. Но это мужественное содружество дюнных растений все же не могло противостоять мощным осенним штормам – волны слизывали дюны.

Удодов я увидела пасмурным утром. Собирался дождь, и пляж был пустынен. Никто не мог их вспугнуть. Даже море лежало тихое и безмолвное. Птиц я заметила сразу – они были цвета огня, крупные, длинноклювые. По желто-оранжевому фону их тельца опоясывали темные полосы, как у тигров. На головах красовались хохолки – целый веер желтых перьев, который они то складывали, то распускали. Этими плюмажами они как будто переговаривались, подавали друг другу знаки.

Вдруг один из удодов, почуяв меня, предостерегающе крикнул – резко, пронзительно, и они полетели невысоко, вдоль дюн.

Больше я никогда удодов не видела.

УЛИТКИ ПОЛЗУТ ПО ДОРОГЕ

У дюн своя история. В послевоенные годы – сороковые-пятидесятые – там еще загорали. Они образовывали своего рода амфитеатр ... песчаные холмы прекрасно защищали от ветра.

Кто сыграл в разрушении дюн главную роль: море или люди? Думаю, все-таки люди. В 60-80-ые годы Рижское Взморье стало одним из самых модных курортов СССР. Туда стекались отдыхающие со всей необъятной страны. Они жили в битком набитых профсоюзных санаториях и домах отдыха, в «здравницах», как тогда говорили, или «дикарем» – снимали комнаты. В какой-то момент природа уже не смогла выдержать такого масштаба вытаптывания.

Надо отдать должное властям Юрмалы – чего они только ни предпринимали, чтобы спасти дюны: засаживали склоны ивовым черенками и сосенками, ограждали, разъясняли. Тщетно. Как говаривал Михаил Горбачев, «Процесс пошел».

В 90-ые годы поток курортников резко сократился: Латвия стала заграницей. За одно-два лета дюнная флора воспряла, да как – просто джунгли, прорваться невозможно. Даже стали образовываться новые маленькие холмы. Цепкие травы спустились на пляж, и там, где они поселились, ветер уже не мог раздуть песок. Появилась целая новая гряда.

Теперь для укрепления дюн подгребают к склонам водоросли, выброшенные морем, мелкие обломки дерева, ракушки и слегка приминают. Казалось бы – прекрасный способ. Но немедленно на этом плодородном слое стали селиться случайные пришельцы, не имеющие ничего общего с дюнной растительностью. Это растения свалок, растения запустения: гигантские чертополохи, лопухи, репейники, изредка розовый скипетр Иван-чая. Они – гастарбайтеры, существа чужие, но работают хорошо, удерживают корнями песок.

Семена их занес то ли ветер, то ли вороны, которые за последние годы освоили пляж и стали соперничать с чайками. В полном согласии с теорией Дарвина там теперь успешно развивается новый вид – водяная ворона или еще благозвучнее ворона морская. ...Но какой-то тончайший механизм природы оказался нарушен.

... Однажды с улитками тоже что-то стряслось. Степенные, обычно малозаметные, они вдруг стали попадаться повсюду. Сперва их

вежливо обходили на дорожках. Некоторые сердобольные любители природы даже корили их за неосторожность и пересаживали в траву. Но вскоре улиток развелось так много, что никто уже под ноги не смотрел. Голодные, они набросились на клумбы, обглаживая цветы, и стоило лишь отвернуть лист, как на его изнанке обнаруживались гроздь крошечных домиков с миниатюрными обитателями. Куда девалась улиточья осторожность и стремление спрятаться при малейшей опасности. Вы могли сколько угодно прикасаться к рокам – улиткам все было непочем, они продолжали ползти.

Я видела шествие улиток по асфальтовой дороге. Машины давили их, но прибывали все новые отряды и ползли, ползли. Оказалось, улитки вовсе не тихоходы. Быстро и упорно они двигались все в одном направлении, к какой-то таинственной им одним ведомой цели.

Что это? Знак неблагополучия в природе? Так она подает сигнал бедствия?

* * *

...Настоящие, не мимолетные, встречи с цветами были не в Москве, а в Латвии. В парке Дома Творчества писателей. Дом – это такое название, а на самом деле – дома. Несколько национализированных домов, владельцы которых были расстреляны или депортированы в Сибирь, после присоединения Латвии к СССР, кто в мае 1941 года, кто после войны. Участки, на которых стояли дома, были слиты в один – получился огромный парк. Он доходил до дюн, тянулся вдоль моря, а с другой стороны его ограничивала главная улица. Растения, конечно, можно было бы уничтожить так же, как людей, чтобы ничто не напоминало о прошлой благополучной довоенной жизни, о ныне не существующей стране, которую история обрекла строить социализм в семье братских народов СССР. Но, к счастью, эта идея почему-то не пришла в советские руководящие головы.

Разумеется, без заботливых рук хозяев все равно это великолепие было обречено. С каждым годом парк все больше напоминал сад Спящей Красавицы, густо зарастал дикими растениями, становился непроходимым даже для меня, маленькой и юркой.

... Особенно хорош парк был в мае, когда цвела сирень. Наверное, здесь погибли редкие сорта, целая коллекция, собранная или, может быть, выведенная бывшим владельцем, – десятки оттенков, неуловимо

переходящих один в другой. От белого – до густо-фиолетового, через розовый, лиловый и пурпурный

...Благодаря писателям, обретавшимся теперь в реквизированных виллах, каждая получила свое имя. Дальний дом, Белый дом, Шведский дом, Охотничий дом, Дом у Фонтана, Детский и Столовая.

Эта Столовая якобы принадлежала в свое время Зигмунду Мееровицу, министру иностранных дел в одном из правительств довоенной Латвии.

... Думаю, больше всех занимался своим садом хозяин «Дальнего дома».

Каждый раз я обходила всех своих диковинных знакомцев – раскидистое дерево с золотыми кружками на листьях, от него – к дереву с листьями вишневыми, а уж потом к кустам с листьями бело-полосатыми.

У веранды «Дальнего дома» росли таинственные растения, которые мне нигде и никогда больше не попадались – длинные не ветвящиеся стебли с большими терпко пахнущими ворсистыми листьями, похожими на кленовые. На верхушке стебля несколько крупных темно-розовых цветов из пяти лепестков и мохнатые бутоны. А как называются лианы, обвивавшие каменную стенку террасы – их ароматные цветы напоминали во много раз увеличенный цветок жимолости – я узнала совсем недавно, встретив их во Франции. Что-то капризно изысканное в стиле ар-нуво: не то каприфоль, не то лак-фиоль. Вела к «Дальному дому» жасминовая аллея, и почти достигали его крыши высокие вечно-зеленые душистые туи. Стоило потереть веточку между пальцами, и терпкий южный запах долго оставался на руке. Там, где когда-то, вероятно, была клумба, выглядывали из поглотившей их травы розовые и оранжевые цветы, словно сделанные из воска, сидевшие прямо на стволах низких кустиков.

Позже, уже в июле, под сосенками появлялись красивые растения: высокий стебель, узкие листочки, мелкие цветы, расположенные скипетром, темно-вишневого цвета. Пахли они ванилью. Оказывается, это были дюнные орхидеи, занесенные теперь в Красную книгу

...Мои ботанические познания и чтение тесно переплетались – во многих сказках речь идет о растениях. Лучше персонажей и не

придумаешь: существа они таинственные. Хотя бы потому, что, в сущности, не нуждаются в имени. Их нельзя позвать, как собаку или кошку, окликнуть, как человека. Удел растений – молчание. Но людей эта немота отчего-то издавна мучила – иначе не было бы сочинено столько сказок о говорящих растениях.

Разговаривают они только с сырыми и обиженными, наделенными доброй душой – всякими падчерицами, выгнанными из дворца королевнами-Корделиями, меньшими братьями, обреченными скитаться по белу свету. Только таких опекают. Злых – никогда.

Ведьмы и волшебники тоже превращают свои жертвы не во что попало – не в грабли или в шляпу – чаще всего, в цветы и деревья. Расколдовать тоже помогают растения – стоит дотронуться волшебным цветком до лягушки или чудища, и чары исчезают. Впрочем, я вовсе не собираюсь писать научный трактат «К вопросу о роли растений в фольклоре», так просто, наблюдения читателя...

...У нас не любят признавать, что война зеркальна. Советские войска вели себя на оккупированных территориях нисколько не лучше, чем нацисты в СССР. Они также убивали, грабили, бессмысленно громили и насиловали. В их оправдание говорится, что они мстили за своих товарищей, не дошедших до Берлина, за погибшие семьи, за сожженные деревни. Но кому? Ни немецкой же армии, ни всяким там гестаповцам и эсесовцам, а людям совершенно беззащитным. Как в одночасье столько людей превратилось в преступников, которые в нормальных условиях, соверши они такое, были бы судимы и посажены в тюрьму, я понять не могу. Неужели все дело в безнаказанности? И каждый человек, если ему сказать: иди, грабь, убивай, тебе ничего за это не будет – немедля и с удовольствием станет грабителем и убийцей? А на тех, кто все-таки не станет, будут показывать пальцем и издеваться, а то и расстреляют?

Великой победе над фашизмом поставлен памятник в Трептов-парке – советский солдат-коLOSS в ниспадающей величественной, как римская тога, плащ-палатке со спасенной немецкой девочкой на руках. Еще один великолепный экспонат сталинского стиля, во всем его величии и лжи...

...Границы между Латвией и Россией после войны, понятное дело, не было – она стала частью необъят-

ной империи, не поставили даже указателя на шоссе, что вы въезжаете в Латвийскую Советскую Социалистическую Республику. Но все-таки граница существовала, очень четкая, безошибочная – цветочная.

Вот стоит покосившийся домишко, вокруг голо, ни одного цветочка. Вот рукой подать другой, в сирени, в жасмине. От калитки вдоль дорожки – анютины глазки, под окнами нарциссы. Значит, уже Латвия..

Общеизвестно, что в тридцатые годы растения были включены в идеологическую борьбу. Подход к ним был классовый. Особым гонениям подвергались герань и фикус – они считались символами мещанского уюта, с ними боролись. Да и вообще цветы истинным строителям социализма ни к чему: что-то в них такое подозрительное, не нашенское, бесполезное, словом буржуазный пережиток. Некогда нам на цветы любоваться – Даешь пятилетку в три года!

Несмотря на дурацкую форму, советские идеологи смотрели в корень (извините за ботанический каламбур). Странно, что они не начали бороться с цветами в Латвии. Неужели партийные инстанции не понимали, что любовь латышей к цветам это даже не традиция, не память о нормальной жизни (хотя и это тоже), а часть их менталитета. А эту-то ментальность при советизации и нужно было подавить в первую очередь. Да, явная идеологическая недоработка...

ТО-СЁ

Просьба

Восходы и закаты...
Вот я и говорю –
А ну-ка, музыканты,
Сыграйте нам зарю!

Для знати и для черни,
Избегнув полуврак,
Сыграйте свет вечерний,
Рассветный полумрак.

Попробуйте не быстро,
Но с внутренним огнем
Сыграть самоубийство,
Которым мы живем.

Сыграйте этот голод,
Что в нас и что вовне,
Сыграйте вещей холод,
Прошедший по спине.

Сыграйте нам разруху
И, на разрыв сердец,
Сыграйте нам разлуку,
Но встречу под конец.

Будущему вслед

Итак, довериться всему
И всем, кто вел нас: гидам, гидшам,
Безумьям верить и уму.
И притворяться непогибшим.

Поверить сызнова мечтам,
Мечтателям, мечту избывшим,
Поверить общим их местам
И притворяться непогибшим
Под оглушительный там-там.

Поверить бронзе давних лет
И заменившим мрамор гипсам
И, глядя будущему вслед,
Все притворяться непогибшим.

Здравствуй

Да здравствует песенка мамы моей
И все, что навеки неправильно в ней.
Пока она не утихает,
Сам Моцарт Вольфганг отдыхает.

Да здравствуют лица и глотки друзей!
И ярость и свет завиральных идей
И звонкие наши застолья
На фоне застоя.

Да здравствуют женщины, все до одной!
Хотя мне в итоге хватило одной,
Как смуглая львица, гривастой.
Ну, здравствуй.

Профессор

И, не считая новостей,
За вечер 50 смертей,
500 членовредительств,
Разбоев и грабительств.

За вечер 50 смертей.
«Нет, выбираться из сетей!» –
Сказал себе профессор
И выключил процессор.

Профессор Кант Иммануил.
Вязь готики в тетради.
Надел колпак. Свет загасил.
Уснул в Калининграде.

Типа стиш

Поднимите-ка руки, кто не был в борделе?
Типа, как это не были? Были, балдели,
Мармеладову Сонечку типа раздели,
Ну и прочее, все были типа при деле!

...В темном небе усталые птицы летели.

Речка Лета

1

Ордер на казнь – подписать и себе, что ли, выдать?
Прямо, без лишних метафор и без синекдох.
Долгий, протяжный, вполне заключительный выдох.
Пост-заключительный, краденый – все-таки вдох?

Смерть, мы с тобою на «ты» иль прикажете выкать?
Лету, вконец обмелевшую – медленно вброд?
Я понимаю, что, может быть, это не выход.
Я понимаю, что, может быть, даже не вход.

2

Харон –
Он спец
По части похорон.

Ты пассажир? Тебе на берег тот?
Обол давай, оболтус. И – вперед!

Хотя Харон, задумчив и пузат,
Не знает ни «вперед» и ни «назад»,
А знает только слово «поперек»,
И нет дорог других в конце дорог.

3

Перезрели наши лета.
Внук, и тот уж не юнец.
Вот течет речушка Лета,
Обмелевшая вконец.

В небе крутится ворона –
И куда дурная прёт?
Ни парома, ни Харона.
Перейдем речушку вброд.

Прибежали в избу дети,
«Тятя, – спрашивали так, –
Свет ли будет на том свете
Или беспросветный мрак?»

Не отвечено дитяти.
Полумрак и полусвет.

Может, вовсе нету тяти,
Нет детей и Леты нет?

Краюшка

Какое счастье доживать свой век,
Дожевывать последнюю краюшку,
Как лошади, завидевшей конюшню,
Взбодриться перед полной сменой вех
Или, скорей, отменой. И с отменной
Отвагою взглянуть в глаза всему,
Точнее – ничему. Благословенны
Событья, не подвластные уму.

Немного ревности

Вот неопровержимые улики:
Свет, словно бьет прожектор изнутри.
Другому предназначенной улыбки
Слепящее сиянье. Посмотри,
Как ты умеешь быть прелестна. Что ли
Забыла, как при мне, со мною ты
Была права такой же правотою,
Красива жуткой той же красотой,
Что вдвое откровенней наготы?
Мне, что ли, незнакома эта дрожь
Напополам с кошачьей, хищной ленью?
Ты, женщина, видать, не признаешь
Любви, когда она не преступленье.

Полушалок

И что бы там со мной ни случилось,
Итог подбит. Итог таков:
От слова «страсть» до слова «старость»,
Как на дуэли, семь шагов.
Стреляйтесь, что ли, мне не жалко.
(– Начнем, пожалуй? – Да, начнем.)
А жалко, может, полушалка
Со снегом, тающим на нем,
Да губ, подпитанных огнем.

ЕЛЕНА КОПЫТОВА

«КАК ПЕПЕЛ С СИГАРЕТЫ...»

Из поэмы «Исповедь сыну»

* * *

...а дни проходят строем, как солдаты,
И миг на миг становится похож.
И новые рассветы и закаты
С годами замечать перестаешь.

Так и живешь: себя не ощущая,
Не помня, как рождаются слова,
Не зная, что метелям завещает
Истоптанная палая листва...

Забыв, как пахнут ландыши лесные,
Как первый гром ломает тишину,
Как треплет ветер тучи шерстяные,
Сдувая с неба ватную луну...

* * *

Шагнем туда. Не верь, что нет возврата!
Он жив во мне, дарованный судьбой,
Погожий мир конца семидесятых,
Уплывший ввысь, как шарик голубой...

Там за рекой, серебряной от бликов,
Я босиком по клеверу иду,
И мама, собирая землянику,
Поет: «На дальней станции сойду...».

Мне покупают первые тетрадки,
О, как я жду прихода сентября!
...успеть бы наиграться в «жмурки-прятки»...
«Пора взрослеть!» – все чаще говорят.

Лихой мороз и звонкие капли –
Всем надо насладиться на пути,
Беспечном, как круженье карусели,
Не просто лишь себя перерасти.

* * *

Опомнившись, пора смахнуть рукою
С лица воспоминаний светотень...
Любовь моя сурового покроя;
Залатана души моей мишень.

Как спичками, судьбой своей играешь.
И снова за падением – полет...
И без любви вовеки не узнаешь
Ни счастья, ни надежды, ни невзгод...

Бывало, на нелепые запреты
Плевали мы с высокой каланчи...
А что теперь? – Как пепел с сигареты,
Слова роняем... Искрою в ночи

ты теплишься... а дальше будь, что будет...
Но боль потерь с годами не уйдет,
Сама себя предаст и позабудет,
Поправ себя, тебя переживет.

ВЕРЛИБРЫ

1.
В сентябре,
когда пахнет антоновскими яблоками,
или в мае,
когда ватный туман цветения
обволакивает задворки Города,
я всей кожей чувствую:
где-то рядом
есть другая Вселенная,
проникающая в нашу –
так срastaются сиамские близнецы,
имеющие общую кровеносную систему...

2.
В другой Вселенной есть Я.
Мне полтора года.
Я пытаюсь поймать солнечного зайчика
от папиных наручных часов.
Я люблю смотреть на золотую стрелку,
бегущую по синему циферблату...
И не хочется верить,
что Время всегда идет в одну сторону...
Зачем так?
Почему?

3.
Мне шесть лет, как сейчас – моему сыну.
Я играю в сосновом лесу,
пахнущем солнцем, настоящим на хвое.
Рядом мама с корзинкой лисичек.
Я играю с кусочком коры,
из которого вечером папа вырежет лодку...
и мы пустим ее по реке...
и она уплывет в океан...
если, конечно, снабдить лодку парусом

из конфетного фантика,
проткнутого заостренной спичкой.

Светлые грезы детства.
Как легко их развеять –
стоит только взглянуть на часы.

4.
Небо расколото с хрустом,
как грецкий орех...
И старая ива корявой рукой
Заслоняет лицо от удара...
А я купаюсь в реке и ничего не боюсь:
Хорошо не бояться грозы,
Когда тебе двадцать...
А после за шиворот
льются ведра воды и озона...
И Лето зеленую ухмылку
дарит вослед: –
«Уж я то знаю,
что Время всегда идет в одну сторону!»
И дождь стучит по крыше ночью,
как метроном.

5.
А строки, еще ненаписанные здесь,
Но уже существующие там –
В другой Вселенной,
Раскрываются, как почки сирени весной,
Прорастают в плоть и кровь...
Они имеют свой цвет и вкус...
Они также реальны,
Как запах яблок в сентябре,
Как мама с корзинкой лисичек,
Как лодка, пущенная вниз по реке...

ЦАРИЦА

«Сплошные страсти. Как в мексиканском сериале, честное слово. Послушайте!»

Семья Александровых кочевала из конца в конец советской империи. Главу семейства, старшего Александрова, подполковника (или полковника) Григория Ивановича, перебрасывало по своему усмотрению армейское начальство. Около середины прошлого века его вместе с женой Ксенией Яковлевной и сыном Сашей занесло в Ригу. Сашина сестренка Томочка явилась на свет уже здесь. Семья бросила якорь в Балтийское море – и осела в Риге навсегда. То ли армейское начальство забыло про Григория Ивановича, то ли, напротив, видело очень хорошо, помнило – и сочло, что тут ему самое место.

Саша поступил в школу, в шестой класс, и сразу же сделался атаманом. Шестиклассники восторженно смотрели ему в рот. Наверно, еще и потому что входили в тот возраст, когда кажется, что нет на свете людей глупее, чем родители, и нет места хуже и скучнее, чем собственный дом. Мальчишек восхищало, что Сашка смеет не считаться ни с правилами школьного распорядка, ни с домашним режимом. «Тебе домой к скольки?» – едва сойдясь, спрашивали они друг друга. И один лишь Сашка отвечал, что «ни к скольки.»... Похоже было, он ни к кому не привязан, никого не любит.

Ребята уже заглядываются на девочек. До летних каникул Сашка вместе с ними доучивается еще в мужской школе, а к осени вступает в силу закон о совместном обучении. Но мальчишек седьмого «а» ждет разочарование: единственная девочка в их классе – высокая среди них, как каланча: мальчишки обыкновенно вырастают позднее. Да девчонка у них на самом деле даже и не высокая, потому что высокая, как им кажется, – это если стройная, а она какая-то... слишком большая, что ли. Никто из них в нее не влюбляется. Зато в теперешнем шестом появляется целых пять девчонок, и одна из них прехорошенькая. К тому же – Тамара: как сашина сестренка.

В той башне высокой и тесной...

Всплывают в памяти слова из песни, которые к хорошенькой Томке вроде бы не имеют ни малейшего отношения. Но в сашкином воображении – имеют, и еще какое. Во всяком случае потом он почти сорок лет убежден, что так оно и есть: *«прекрасна, как ангел небесный,*

\ как демон, коварна и зла»... Но это гораздо, гораздо позднее... Правда, Томка на ангела ничуть не похожа. Но для него! Он по-сумасшедшему в нее влюбляется, а она, так ему кажется, играет. Прогуливается с ним по Риге допоздна, ей домой, как и ему, «ни к скольки».

«Нет, я с ним и не думала играть. Просто не хотела домой, не было там ничего хорошего. Какой-то ненужный нам с братом Терентий. Ну, отчим. Папочка. А играть... да это он со мной играл, Александр. Все хотел мне доказать что-то, наверно, что он – особенный. Позер несчастный. Хотя иногда... я вдруг догадывалась, что он влюблен!»

Ответа на его влюбленность Тамара в себе не находит. И чувствует, что как раз поэтому может им вертеть, как захочет. Сашке от нее не оторваться, а она в любой момент может повернуться и уйти. Так и делает, «наше вам с кисточкой». Скажет вот так с насмешкой – и уходит, не оглядываясь. Что Сашка влюблен в Тамару, видит вся их компания подростков. Заметно же, что, вот, собрались, а ему, такому вроде компанейскому парню, всё немило. Сашка ждет, вздрагивает, услышав чьи-нибудь шаги, вспыхивает, весь красный. Нет: не она. Снова помрачнеет.

«Что же такое там было, на кладбище? Что за волшебный ветер пробежал по листве пышных дубов и кленов, как пальцами по клавишам, извлекая неслышные, зато зримые звуки неведомой или забытой симфонии?» И эта симфония несет забвение всей скуки обыденной жизни. Будней, моих будней, в которых давно уже нет ничего, что следовало бы забыть. Или, все равно, – помнить. Нет вообще ничего. Всё те же, всё то же. Моя кровать, коридор, ведущий в кухню, где на столе кофейная чашка. Есть я не хочу. Дочка обо мне заботится, всегда оставит какой-нибудь завтрак. Предлагает и кофе сварить, налить в термос, чтобы не остыл. Но я могу, еще пока могу, и сама сварить; это утреннее развлечение и – напоминание о былом: запах кофе. ...Этой весной я так запоздало собралась, с трудом заставила себя поехать на кладбище. Там все так заброшено, засыпано прошлогодними листьями, поросло травой...

И вот – эта симфония. Засмотревшись на нее, я забыла, куда иду. И ничего не узнаю, всё вокруг такое чужое, странное. Сколько лет я сюда ездила. Кажется, с закрытыми глазами найду свои могилы. А от них – рукой подать до сашиных. И надо же – не узнаю. Стою на тропинке, и будто бы выпала из времени. Из своего времени, которого, как

говорят, вообще-то нет. Я заметалась, мое странное состояние меня смутило».

Женщина преклонных лет придвинулась ко мне поближе на скамейке в парке, поставила свою тросточку между коленей, оперлась на нее руками. Я отвернулась, – чтобы дым от моей сигареты уходил в сторону, не окуривать же ее. «Да мне ваш дым не мешает, – проговорила она, – я даже люблю этот запах. Когда-то и сама курила. Вы не торопитесь?»

Хотелось, очень хотелось резко брякнуть, что тороплюсь. Подумаешь, радость – слушать какую-то старуху в парке. Но она подняла веки, – не без труда далось ей это движение, веки, виделось, у нее тяжелые; может быть, она давно не хочет смотреть на белый свет, и мышцы век атрофировались. Старуха открыла глаза, и я увидела перед собой красивую молодую женщину. Глаза оказались большими, будто немного растерянными, что-то нездешнее мелькнуло в их выражении.

«Непростая. Старуха-то».

«Знаете, иногда о себе легче рассказать чужому человеку. Как раз потому что нет ему до тебя никакого дела».

Помолчав, она спросила: «Вы никогда об этом не думали?»

«О чем это?»

«Ну, об исповеди. Чужому человеку».

Как не думать, был и в моей жизни такой случай: вдруг раскрылась постороннему, в поезде. Мальчишке-солдатику, своему, пожалуй, сверстнику. Только показался совсем желторотым; ничего-то, думаю, не знает, не пережил. Мальчишки меньше переживают. И взростеют позднее. И детей не им вынашивать...

«Думала», – всего и ответила ей, всё еще надеясь избежать ее признаний. А то ведь заговорит, ведьма. Знаю я эти женские исповеди: начнет вспоминать о своих поклонниках, как они все к ногам ее припадали. Так им кажется на склоне лет; и тот на нее дышал, а этот так любил, что хотел застрелиться. Одна вот такая старушка до того договорилась, что брякнула под конец: он ее прямо в рабочем кабинете чуть не изнасиловал, во как любил!

«Я еще совсем девочкой была»...

Ага: начинается.

«Шестнадцать лет. И я считала себя уродиной, хуже не бывает. У

других глаза аккуратненькие, а мои – как блюдца».

С этим мальчиком Тамара познакомилась через брата подруги. Имени она не говорит, из суеверия, что ли, да и что в имени, назовем, говорит, Александром. Родом был с Кавказа, полукровка, отец – русский офицер, а мать – грузинка.

«Лицом, статью Александр был в мать: кавказский мужчина. Нос крупный, с горбинкой, брови, глаза темные, сам стройный, с осиной талией. Был... на днях похоронили. Но я успела сказать. Потому что думала, – помру скоро: врачи предрекли. Вот и решила навязать ему встречу. Сорок лет он... не хотел ни видеть меня, ни слышать. Не мог простить. Позвоню – и говорить не хочет. Только одно: что ты сказала Ксении Яковлевне?»

Опасаясь, что я не пойму с концовки, Тамара возвращается опять к юности. Сообщает, вкратце, что росла трудно, без отца. «Многие тогда без отца. Да и теперь безотцовщина, я знаю». Мать у нее была юной вдовицей и, понятно, недолго думая, нашла Тамаре с братом отчима. Терентия, бывшего конвойного в ГУЛАГ'е. «При нем сытнее стало. Терентий, хоть и орал, что мы навязались на его шею, хлеба не жалел. И матери, и нам. Приговаривал: жрите, убудки, растите толстыми и румяными». Но их жизнь, так считает Тамара, изменилась к худшему. Терентий, как теперь ей кажется, не был ни плохим, ни хорошим. По настроению. Мог и ударить кого-нибудь из них троих. Мать его оправдывала: не от хорошей жизни. Странное рассуждение, размышляет вслух моя собеседница. Вот и в нынешние времена: всё-то жизнь виновата. А жизнь... ну уж какая ни на есть, живи. Время при отце, до ухода его на фронт, Тамара почти не помнит, они с братом были совсем маленькие. А вот краткий отрезок от похоронки на отца до Терентия видится счастливым. Мама пела. Придет с работы. Какой-нибудь: постоянной не было, – по соседям. То полы помоем – за это ей супа нальют, другой раз дадут еще несколько сырых картофелин. То посидит с младенцем. Усталой придет, но сразу от порога к ним бросается. Обнимет, на кровать усадит, брат под левой рукой, Тамара – под правой – и поет:

*На позиции девушка
Провожала бойца.
Темной ночью простила
На ступеньках крыльца...*

Песни печальные, а ей с братом так хорошо, уютно. Попев, мать, отдохнувшая, суп разогреет, усадит за стол. Другой раз после супа по конфетке вынет из сумки – от соседки гостиница.

«Вот такая жизнь. И что же? Плохая? Помню, соседка та в разговоре с другой высказалась про мать – что она, мол, с Терентием сошлась не от хорошей жизни. Ну, и как вы думаете – может быть, и любовь наша не от хорошей жизни?»

С появлением Терентия Тамара остро чувствует безразличие матери. По привычке делится с ней школьными новостями, тараторит с порога, по пути забрасывает в угол школьную сумку, на спинку стула – пальто. А они, мать с Терентием, обедают – и ничего не слышат. Только видит Терентий, как девчонка раскидывает вещи куда попало. Плюхнувшись на стул, она неожиданно получает от Терентия по уху. «Расселась! А ну, все положи на место!» Мать ему вторит – мол, убери, переоденься, школьное платье побереги, сядь за стол, поешь, как человек. Тамара, съжившись, проглатывает суп – и уходит, бросив на ходу, что скоро вернется. Но мать не слышит, и Тамара скоро понимает, что той, уж не говоря про Терентия, все равно, куда, зачем она пошла, когда вернется, что случилось в школе.

«Ну, раз им все равно, то и мне, долго ли коротко, тоже делается все равно. Я уже подросток, у нас к тому времени сколачивается хорошая компания. Сперва девчонки одни, потом подруга приводит брата с товарищем, тот – еще товарища. Бегаем по дворам, в казаки-разбойники, носимся, как угорелые». Грусть мелькнет, замечает она, когда вечер наступит, и все начинают расходиться. Запомнилось, как однажды подруга, та, у которой брат, спросила: а тебе к сколько домой? Подруге она не отвечает, а сама себе внутри себя говорит – ни к сколько. Живет себе дальше, стараясь пореже заглядывать, что у нее внутри. Да и стараться особо не надо: не до того, когда носишься по дворам. Ну, мелькнет быстрой тенью под вечер печаль какая-то, но Тамара тут же смиряется. Раз все по домам, то и ей – домой. Бессонницей в ту пору не страдает. Придет, съест хлеба кусок. Если оставлен. А нет – холодную картошку найдет в кастрюле, и – с солью. Вот и вся недолга. Водой запьет – и спать. Заснет сразу как убитая, а утром – школа, вечером опять друзья. Катится жизнь; куда, зачем, она себя не спрашивает, и какая жизнь, тоже не интересуется. Словно спит: и днем спит – и видит эту жизнь во сне.

Изредка бывает: проснется утром часов в шесть. Не спит больше, но вставать не хочет. Сама не знает, почему. Не хочет, и всё. «Может быть, проверяю: поинтересуется, если не Терентий, то мать хотя бы, что со мной. Не больна ли, не случилось ли чего-нибудь. Мол, не пора ли встать, в школу собираться. Нет – никого не колышет. И меня охватывает жуткое чувство свободы. От жизни – понимаете?»

Наверно, я понимаю: мороз по коже. Мы так любим говорить о свободе, представляя ее – счастьем...

Как познакомилась с Александром, Тамара не помнит. В какой-то момент видит его в компании, знает, что пришел с братом подружки. Кажется, он ничем не отличается от прочих мальчишек. Кроме одного: ему, как и ей, домой – ни к скольки. Они часто остаются вдвоем. Бродят по улицам Риги, светлым в июне, темным в августе, непроницаемо черным в октябре. Саша, в компании такой разговорчивый, бывает – язвительный, – тет-а-тет выглядит притихшим и даже робким. Они долго бродят вдвоем, Саша несколько раз провожает Тамару до ворот ее дома, мнетяся, непонятно, ждет ли, чтобы простилась и ушла, или чтобы позвала к себе в гости, так как гулять уже темно и холодно. Видя, что он не спешит, Тамара зовет пройтись еще круг и наконец-то уходит, равнодушно уронив – «пока». Не дождавшись ее приглашения к себе, Саша в один из особенно холодных, может быть, и дождливых вечеров приводит Тамару в свой дом, знакомит с Ксенией Яковлевной.

«А Ксения Яковлевна, мама его, такая приветливая, принимается сразу стряпать в кухне какие-нибудь «пампушки», несет нам чай, в сашину комнату, горячие вареники с вишней, что-то еще там готовит, не помню уже, а если нет ничего, то жарит яичницу. И я все это уплетаю, а Ксения Яковлевна приговаривает – кушай, Томочка, кушай».

Незаметно они с мамой Саши становятся дружны. Тамара приводит к ней подруг, как к себе домой. И на самом деле чувствует себя у Ксении Яковлевны, как дома.

«Не знаю, чем это объяснить, но с иными, даже очень доброжелательными людьми, невольно соблюдаешь дистанцию. А вот с Ксенией Яковлевной этого не нужно. Не только потому что, как я поняла однажды, Саша меня полюбил, и мама об этом сразу догадалась. Просто была она вот таким человеком: расположенным к людям. Или, может быть, то была кавказская ментальность. Ну, так у них принято. По-другому, чем, например, у латышей. Да и русские как-то в те годы

здесь забывают о своем гостеприимстве».

Про любовь Тамара ясно поняла, когда однажды Сашка взял гитару, – это было у них в доме, в его комнате, – и при всей их компании задушевно запел:

*В глубокой теснине Дарьяла,
где роется Терек во мгле,
высокая башня стояла,
чернея на темной скале.*

*В той башне высокой и тесной
царица Тамара жила...*

«Он смотрел нежно, говоря глазами, что это я – царица»...

Домой ее не тянет, а здесь, у Ксении Яковлевны, она чувствует себя родным человеком. Ксения Яковлевна приветчает ее, может быть, и смутно думая – кто знает, а вдруг Томочка лет через пять станет ей невесткой, родит внука...

*И слышался голос Тамары,
он весь был желанье и страсть,
в нем были всесильные чары,
была непонятная власть...*

Сашка теперь часто берет гитару, чтобы с чувством исполнить песню про царицу Тамару. И Тамару охватывает волнение. Восторг – оттого, что Саша ее так любит.

Встречи, песни продолжают, видятся нескончаемыми и любовь, и молодость, и счастье. Она забывает здесь равнодушие матери, вечное присутствие в доме противного Терентия, лишившего ее материнской любви. Тамарин брат уходит из дому: поступает после семилетки в морское училище. Она бы тоже ушла, благословив и мать, и Терентия – ну их, пусть любят, и недавно родившуюся сестричку Катюшу, которая окончательно заслоняет от матери старших детей. Ушла бы, да некуда, она еще учится в восьмом классе, надо кончить десятилетку. Узнав из сашиной песни, что в голосе царицы Тамары «всесильные чары» и «непонятная власть», она, скорее всего неосознанно, пользуется «непонятной властью» – чуть не помыкает Александром. Очарованность любовью тускнеет, остается чувство бесконечности. Тамара знает, как он ждет ее, как настораживают слух его чьи-нибудь шаги; иной раз нарочно приостанавливается, замирает, чтобы

насладиться разочарованным видом Саши – «не она», «показалось»; целую минуту стоит, спрятавшись за углом неподалеку от места сбора их детски-подростковой компании.

«Ведь знала же, что всё чудное «это» вечно не может длиться, а чувство бесконечности все равно не покидало».

Помолчав, моя собеседница поворачивает лицо ко мне, раскрывает свои прекрасные глаза, в моем воображении мелькает образ прелестной царицы Тамары. «Нет, ну, вы поймите, – говорит она, – я же его не заманивала нарочно. А поняв, что невольно заманила, начала мучить. Зачем? Почему? Ну, разве я знаю? Ведь я, конечно же, не была ни коварна, ни зла. Обыкновенная девчонка. Ах, да всё это вообще был детский сад. Дети так делают: чуя попустительство, принимаются испытывать – до какой черты. И вот странно: чем больше я мучила его, тем сильнее к себе привязывала. То, гуляя с ним по вечерней Риге, вдруг повернусь и уйду. Ни с того, ни с сего. А он голову ломает, чем обидел. И при следующей встрече такой предупредительный, само внимание. Ну, и мне это нравилось. Другой раз знаю, что наша компания собирается, что и Сашка непременно будет, – и вот, возьму и не приду. Вы не представляете, как мне это было трудно: есть, куда пойти, хочется пойти, – а я держу себя дома! И хорошо, если бы в одиночестве: оно иногда невредно. Но – в одиночестве случалось невероятно редко; почти невозможно, чтобы удалились они все втроем, мать с Терентием и с Катюшей. Бывало, оставят вдвоем с сестренкой. Я теперь понимаю, что это были благословенные часы, Катюшка уже болтать начинала, мне, честно говоря, с ней было интересено. Вслух-то я ворчала. Мол, вот, сиди тут с тобой. Лучше б смылась; раньше, чем они, поняв, что я дома буду, кинут на меня девчонку... Зато потом – вы, конечно, можете понять, с каким наслаждением я потом слушала подружку. Как та рассказывает: а мы, а он... то есть, как он места себе не находит, и все ждет, и не хочет уйти с места встречи, все надеется»...

Царица рассказывает не скучно, а все же меня утомила. Главное, не пойму, к чему она клонит, что же хочет мне сообщить. Правда, слова в ее истории не очень похожи на обычные, какими женщины в возрасте описывают молодые годы.

Ну, в том смысле, что ах, как «хороши и свежи были» – не розы, а они, они сами... Только вот встать и уйти от царицы я не могу. Все жду чего-то главного, а его нет и нет...

После школы Сашка, не поступив ни в какой вуз, уходит в армию. Не без нажима со стороны отца, не то майора, не то полковника – Тамара не знает, не очень разбирается в погонах. Говорит одно – что Григорий Иванович был истинно русским человеком – в стереотипном представлении, поскольку такой феномен – истинно русский человек – вряд ли вообще существует. Она рассказывает, что был тот откуда-то с Поволжья, успел повоевать, позащитить честь оружия во Второй мировой. И был отчаянным патриотом. Не мог же он допустить, чтобы сын увильнул от выполнения воинского долга. Сам Саша себя считал тогда кавказцем, но этот взгляд не противоречил отцовскому представлению о воинском долге мужчины перед родиной.

«Край непуганых идиотов», – произносит Тамара сашину фразу, хотя не знает и не хочет знать, что именно тот считал таким «краем»: весь Советский Союз, Московию или Латвию. Как бы то ни было, похоже, Саша ничуть не идеализировал законов, обычаев и нравов, по которым мы жили в то время. Он обладал, по словам Тамары, «критическим умом», всё и вся подвергал сомнению. И ей это нравилось; судя об армии, да и о прочих устроителях порядка в стране, по ненавистному Терентию, бывшему конвойному ГУЛАГа, она вполне разделяет частое недовольство Александра жизненным укладом...

«Умер!»

«В армии, что ли?» Я мельком воображаю, что, может быть, в этом-то и заключается суть ее повествования: очередная драма молодого человека в армии. А то и трагедия.

«Нет, почему в армии? – удивляется она. – Из армии вернулся живехоньким».

«То есть, он вернулся умирать?»

«Почему? Жить вернулся! Хорошо, что я успела»... Она опять принимается рассказывать по порядку, и я оставляю надежду поскорее от нее уйти.

Ксения Яковлевна, пока ее Шурик служит – на Севере, где-то под Мурманском, на подлодке, – живет ожиданием сына. Тамара весь первый год часто ее навещает, не раз видит Ксению Яковлевну

собирающей очередную посылку – как она зашивает в какую-нибудь часть одежды бутылку водки, заворачивает затем в тренировочные штаны, – мол, не исключено, что в таком виде дойдет. Чует, наверно, что в условиях, в которых служит ее Шурик, водка ему, может быть, единственный источник и тепла, и радости. А Тамаре, в доме матери и Терентия, всё так постыло, что она только и ждет случая тот дом оставить. Сейчас, рассказывая об этом, царица не задерживается на объяснениях, почему так не мил ей собственный дом. Однако, по некоторым деталям можно догадаться, что основания были. «Да он сумасшедшим оказался, – говорит она про Терентия. – Раньше, может, и не был, а с годами спятил, сошел с катушек. Вдруг взялся ревновать маму, грозился убить какого-то ее воображаемого мудака, для чего держал топор под подушкой!... Я давно понимаю, какой была эгоисткой, решив оставить мать и Катюшу на растерзание Терентию. Но как я могла им помочь? Говорю матери – да уйди ты от него! – Куда? – спрашивала та. И у меня ответа не было».

Тамара поступила на работу, на конвейер, учиться стала в вечерней школе. Получила койку в заводском общежитии. «Там, среди молодежи, я про них и думать забыла. Познакомилась с Форовым, будущим мужем».

Вскоре Форов ей делает предложение, и она его принимает, хотя Форов ей ничуть не мил. «Эта гавань мне показалась, да и была, гораздо надежнее койки в общеаге». Форову, – а он нездешний, пришлый, из Беларуси, кантуется, как и Тамара, в общежитии, – в связи с женитьбой дают заводскую квартиру. «Ну, это громко звучит – «квартира» – по отношению к тому закутку на чердаке. А уж лестница... когда родилась дочка, я сполна эту лестницу оценила, слезая и залезая по ней с коляской». Ксения Яковлевна живет теперь по соседству, Тамара ее вновь навещает – по пути на базар или с базара; позднее захаживает, гуляя с ребенком. Ксения Яковлевна всё сильнее привязывается к Тамаре. «Она тебя боготворила!» – иступленно повторяет Саша спустя несколько лет.

«Еще бы!... И вот, однажды Ксения Яковлевна мне сообщает, что через недельку Шурик будет дома». Увидев Сашу, вернувшегося после армейской службы, царица тихо ахнула: так он был худ и бледен. Казался маленьким и невзрачным. Мало похожим на прежнего кавказского мальчишку, который им, старшекласникам,

представлялся необыкновенным красавцем. Чудилось, он резко выделяется среди сверстников – и внешними данными, и способностью сязвить при случае. И быстрой реакцией, мгновенным пониманием поминутно меняющихся ситуации, настроения и причуд подростковой компании. При виде его бледности Тамара думает, что, верно, там, на подводной лодке, постоянно нехватало кислорода. А Сашка соловьем заливается, рассказывает целые сюжеты о пережитом на подлодке, стараясь изобразить, как меняются люди в нависшей угрозе задохнуться: что-то там, вроде бы, случилось с вентиляцией. Царица верит и не верит в его рассказы. Оживляясь в беседе, он возвращает себе прежний облик. «А то я так сильно была разочарована, что в первую, коротенькую, встречу меня обуяли и жалость к нему, и скука. К тому же... я ведь видела, что он рисуется».

Ксения Яковлевна сияет, кормит ненаглядное чадо и Тамару с подругой своей стряпней, у нее на кухне дым коромыслом... Всё, как прежде. Только где же их мальчишки? Да кто где – еще не вернулись из армии, уехали на заработки, некоторые – учиться в другие города...

Тамара по привычке не проходит мимо их дома, не заглянув к матери Александра. Сам Саша при этом даже не всегда дома; и Тамаре, похоже, почти и всё равно, есть он, нет его. А его чувство к ней сохранилось неизменным. Царица не может не заметить, как он при ней вспыхивает, пропадает бледность, привезенная с Севера. По вечерам они, понятно, вдвоем не гуляют, ведь у нее ребенок, у того свое дневное и вечернее расписание.

Так длится жизнь, продолжается их молодость, бездумная, все еще бездумная... пока однажды царица не остается с Сашей наедине...

Ко времени его возвращения из армии Тамара знает уже о своем равнодушии к Форову и об его равнодушии к ней. Этого следовало ожидать, «мы ведь были совершенно с ним разные, чужие люди»... Не только по интересам, но и по складу характеров: Тамара общительна, Форов – нелюдим; она, выпив бокал вина, любит поговорить по душам, он – молчальник, замкнут, про чувства не заикается, не проявляет, «да, может, по самой простой причине – их у него нет». Да: Тамара знает, что и Форов к ней совершенно равнодушен. «В молодости я возмущалась: если я ему ни капельки не мила, то зачем решил на мне жениться, зачем ухаживал? Молча; придет – только и скажет: пошли в кино. Да так и промолчит весь вечер. Ну, во время фильма – куда

ни шло, в кинозале болтать не принято». Форов держит ее за руку в темноте полтора часа, после чего, всё так же молча, провожает домой в общежитие, доведя, притиснет у входа к стенке, вопьется ртом в ее губы... «Скоро я поняла, зачем. То есть, зачем женился: он меня хотел. По нынешним временам – какая проблема: нашел укромное место, трахнул разок-другой – и вся недолга. К чему затевать всё остальное. Но тогда, вы же знаете, так было не принято. В его башку прочно вбито представление тех лет о порядочности: надо на девушке жениться, раз ты ее так сильно хочешь... Про меня – то есть, зачем я... – вы уже знаете: мне было важно ... уйти. От Терентия с матерью, из общежития; я знала, что всю жизнь довольствоваться выделенной мне там койкой да тумбочкой возле нее не собираюсь. Поэтому – пускай Форов. А там видно будет. Знала я, знала, что не по чувству иду за него. А дальнейшее ... да разве я думала о дальнейшем? Это потом, когда началось повторение вчерашнего, день за днем ... я пришла в ужас: неужели до скончания века так?! Ну, хорошо, возмутилась я, про себя-то мне ясно, зачем, но он-то, он! Зачем? А вот затем: чтобы спать со мной на законном основании. К тому же... Форов тоже не возражал получить «квартиру», если можно так гордо назвать тот чердак. У него было теперь всё, что нужно, по его понятию, человеку в жизни».

Тамара не думает, что Форов был особенно разочарован, поняв ненужность ему «спать именно со мной. Эка важность, считал, с кем-то нужно». Коротко говоря, Форову казалось, что все идет своим чередом. Тамара говорит, что в нем и не было ничего такого, отчего иным людям не живется жизнью, какая есть, а всё хочется, всё ожидается «чего-то»... Форов регулярно ходит на тренировки. Моя собеседница не сообщает, по неважности, каким видом спорта он занимался. Только то, что отправляется на свои тренировки три раза в неделю, «хоть потоп». Поминает подробность – как однажды не отменил тренировку, когда она и годовалая дочка лежали с тяжелейшей ангиной, с температурой под сорок. Лекарства обещал купить на обратном пути, а пока, мол, что же, отдохайте. «Ну, и постельные дела были ему той же тренировкой, из гигиенических соображений»...

«Похоронили, – вдруг всхлипывает царица, – похоронили Сашу».
Всех похоронят...

«Я не ездила, поехала проститься на следующий день. Наедине побыть... с кем или с чем? побыть-то»...

Я молчу. Наверно, с собой, вспомнить обо всей своей жизни. Обо всем, что рассказывает мне теперь. Незнакомой, чужой. Зачем? Да низачем. Может быть, чтобы вновь промелькнуло дорогое прошлое, прозвучало, на миг застыло, повисло в воздухе. Как отзвучавший перебор его гитары.

В глубокой теснине Дарьяла...

Прощаясь со своим Сашей, она ярче всего вспоминает, как вспыхнула – и в ней тоже вспыхнула! – тлевшая все время страсть, – с того дня, как он вернулся с Севера и увиделся таким измученным, бледным. Жалким даже! Что-то, видно, опять не совпало в проживаемых ими жизнях. Она расцвела, была на миг счастлива – своим материнством. Пока и оно не стало ежедневным повторением вчерашнего.

...царица Тамара жила...

Я не сразу понимаю, чего хотела Ксения Яковлевна, когда однажды вдруг забрала тамарину дочку и, сказав Шурику и Тамаре «вам есть, о чем поговорить», ушла с ней гулять в ближний скверик. Оставила их наедине в пустой квартире, и было известно, что никто не придет, Григория Ивановича долго еще не будет дома. Имелся ли у Ксении Яковлевны определенный план? Из дальнейшего рассказа царицы становится понятно: имелся. Безусловно имелся – она хотела удержать сына, не допустить, чтобы уехал в Мурманск, на какую-нибудь опять атомную подлодку. Там, на Севере, будто бы, осталась у него женщина. Если и не любимая, то, может быть, – любящая. Тамара – хорошая приманка, Ксения Яковлевна прекрасно знает о неизбывной любви сына. «Всё произошло, – говорит Тамара, – и было так сладко, так сладко. Немного с горчинкой, но горчинка-то... от нее – еще сластнее»... Так начинается эта долгая любовная история. По словам царицы, с ней в те немногие годы встреч с Александром неоднократно происходило нечто похожее – по чувству жизни, такому острому и настолько странному, что забылось ее печальное открытие о неизбежности повторения вчерашнего, – нечто похожее на пережитое на днях, когда она с ним навеки простилась у его могилы. Какое-то непонятное, сладкое забвение.

...Возвращаясь от Саши на свой чердак, она не узнавала местности: знакомой улицы, известного перекрестка, где надо свернуть к дому. Она растерянно удивлялась всякий раз своему неузнаванию. Долго стояла, силясь вспомнить, куда ей, зачем, почему. Силясь ... забыть!

И никогда не вспоминать. Забвение могло продлиться от весеннего дыхания; вспомнить иной раз мешала белая стена снегопада. То снег, то дождинки, то ветер – своим осенним холодом или весенним ароматом, – изменяли всё: дома, улицы, знакомый перекресток. Казалось, и она сама сливается с окружающим пространством, стенами, редкими прохожими, словно всё это имеет некую общую составляющую, единую душу и даже единую плоть.

Ее странные видения, необычайные эти состояния после расставания с ним повторяются. «Я не сумасшедшая, – говорит она, – не подумайте. Это, наверно, страсть меня сжигала. Может быть, она открывала во мне неизвестные в обычной жизни свойства моей природы»...

Но однажды в подобном состоянии ее посещает, как она говорит, «страшное видение. Похожее на Апокалипсис – ну, по библейским описаниям». Ей увиделось, будто стены домов делаются плоскими и тонкими – вроде картонных – и за ними ничего нет: никаких домов. Как детские карточные домики, которые рассыпаются при вздохе. И вот, эти незнакомые дома на незнакомом перекрестке... то есть, не сами дома, а их оказавшиеся вдруг полыми стены, угрожающе накрениваются – и начинают падать. Целиком, не разрушаясь при падении. «Бог знает, я, конечно, не помню... да что – не помню: я не забыла ничего. Просто я и тогда не могла понять, что с ними происходит. И как долго они остаются в этом положении готовности упасть на меня и на редких в этот час прохожих. Не знаю, сколько времени длится наваждение... Прошло: потом прошло. Однако, еще долго-долго, чуть не всю жизнь, это видение возвращается в снах».

Их свидания были так радостны и так мучительны.

«А Форов?»

«Что – Форов?»

Форов ни в чем не упрекает. Похоже, он и не замечает ее долгого отсутствия вечерами. Сделав всё необходимое по дому, она оставляет его с дочкой, наказав не дожидаться ее, ложиться спать. И они на самом деле крепко спят, не слышат, как она вернулась. Форов не спрашивает, во сколько же она пришла, и наутро. «Мне опять, – с кривой усмешкой говорит Тамара, – мне, как и прежде, домой ни к скольки». Месяцы, годы и годы в ее жизни не происходит никаких существенных перемен. Только внешние. Дочка подрастает, Тамара ее с трех лет

устраивает в детсад, так называемый заводской. В те времена, как и в нынешние, в общегородские ребенка устроить трудно, поэтому крупные предприятия – а ее завод крупный, – строят детсады на свои средства своими руками, и мест в них хватает всем заводским детям. Царица отводит туда девочку, сама возвращается к конвейеру. Спустя еще три года у нее рождается вторая дочка – от Саши. Однако, ни Ксения Яковлевна, ни ее Шурик своей девочку вслух не признают. «Они прекрасно знают, чья Валечка. Ксения Яковлевна с ней охотно гуляет, – как когда-то с моей старшей, – остается с Валечкой, чтобы я и Шурик сбежали в кино... Сердцу не прикажешь, Ксения Яковлевна привязана к внучке. Только ни мне, ни моим детям в ее планах уже нет места... В каком-то смысле я, наверно, в те годы была счастлива».

Вернувшись от Александра около полуночи, она засыпает, едва коснувшись головой подушки, и спит, как младенец, безмятежно, без сновидений. «Наверно, я потому так засыпала, что уже копилась во мне страшная усталость. Незачем объяснять вам, сами знаете про быт и бытие советской женщины... впрочем, и нынешней – капиталистической».

Она рассказывает, что Форов очень бы удивился, не найдя в один прекрасный день в доме уж если не полноценного, то хотя бы сносного обеда. Или застав неприбранными комнату и кухню в их «мансарде». Или почувствовав, как дует в незаклеенные окна, или... Да мало ли. Не увидев, например, заготовленных на зиму дров, угля, брикетов. Форов считает, что, отдав жене значительную часть зарплаты, он выполняет свой долг перед семьей сполна. До тамариной мечты выучиться на учительницу ему нет дела.

«Но я все равно училась. Поступила в вуз на заочное. Ума не приложу, как я могла, откуда брались силы. Из желания, должно быть». И все же она чувствовала себя счастливой. Так она думает сейчас. А тогда? Ценила ли счастье свое тогда? Она сама себя об этом спрашивает, и не знает ответа.

Александр, окруженный заботой матери, очень скоро обретает свой прежний вид. Осиная талия, но лицо – совсем другое: от привезенной с Севера вытянутости и следа не остается, он, кажется царице, даже как-то молодеет, возвращаются черты кавказского мальчика, молодого мужчины. И нежный голос, чуть-чуть гортанный. Саша часто берет гитару, наигрывает какие-то новые, незнакомые

мелодии, возвращается к любимой «царице».

*...прекрасна, как ангел небесный,
как демон, коварна и зла...*

Тамара слушает обращенное к ней пение, забывается, отдыхает душой – так она говорит мне сейчас: «Смотрю на него, слушаю – и все утомительное, все напряженное отдаляется, я забываюсь. Иной раз уже у него, не выйдя из его дома, вижу перед собой перекресток, на котором будто бы выпадаю из времени, стою, ничего не узнавая вокруг». Только сон... тот сон, который повторяет однажды посетившее ее на перекрестке страшное видение: падающие стены. Они никогда не падают, не успевают – их заменяют другие сны, другие обрывки странных комбинаций проживаемой жизни. «А может быть, эти стены набекрень, – говорит она, – были предчувствием страшных цунами. Я, как увидела на экране телевизора эту грозную волну стеной, меня аж передернуло – вот оно что! Те самые падающие стены». Тамара рассказывает, что ей, при виде этой любительской съемки, почудилось: она каким-то необъяснимым образом уже давно все это видела, знала, знала это чувство ни с чем несравнимого ужаса. «Может быть, оттого что наше поколение долгие годы страшилось угрозы атомного удара; нам показывали этот характерный атомный гриб».

После сна о падающих и никак не успевающих упасть стенах она просыпается и долго не может заснуть, думает о Саше, слышит его голос: «в глубокой теснине Дарьяла...»; а позднее, когда, закончив заочное историческое отделение, работает учительницей и воспитателем в детдоме, думает о детях, о том, как привлечь их внимание на уроках истории... «И вообще – о том, что бы еще я могла сделать для них. Я страстно хотела действенного добра... Может быть, Сашка вдохновлял, – когда рассказывал про своих комсомолочек: был освобожденным секретарем организации на большом предприятии. – И чем это он молодежь притягивает? – восхищалась своим Шуриком Ксения Яковлевна. Да: чем-то, на самом деле, притягивал. Была в нем, была, как теперь выражаются, харизма, ведь и в школе был лидером, и в нашей детски-подростковой компании; мальчишки в рот ему смотрели, да и девочки, даже моя вечно скептически настроенная подруга. Лишь передо мною он робел, я видела... Спасибо, что вы меня слушаете, – неожиданно обратилась ко мне Тамара. – Я давно хотела рассказать, да ведь некому! Когда-то написать пробовала, немного

написала. Перечитала потом – какая вышла чепуха!»

Как бывает во многих любовных, да и просто – жизненных – историях, в отношениях Тамары и Александра возникает некий необъяснимый кризис. Хотя – отчего же необъяснимый? Она сама прекрасно его объясняет и обосновывает. «Надо было что-то менять». И не только, потому что становится кислой благосклонность Ксении Яковлевны к их роману. «Ксения Яковлевна – восточная женщина, – роняет Тамара. – Она – мать, и я ее понимаю»...

Тамара и Александр объяснений избегают. Но она чувствует, иной раз – остро, – что от нее ожидается решительный поступок. Она знает без слов: он готов принять ее, свою царицу, оставить у себя насовсем вместе с дочками. А Ксения Яковлевна... ну, с ней посложнее. В начале – да: она только того и желает, чтобы они поженились, и Тамара ей родила внука. Но время меняет не только наш возраст, но и наши обстоятельства. В окружении комсомолочек, видится Ксении Яковлевне, меняется ее Шурик. К тому же Ксения Яковлевна без слов, однако ясно понимает: Тамара с ее сыном не останется. Мать даже одобряет этот выбор: оставаться с Форовым, догадываясь, что царице, если она позволит себе беззаветно полюбить ее сына, Шурик будет нужен весь без остатка. Сперва Ксении Яковлевне долго казалось, что сын, кроме любви к своей царице, ничего другого и не хочет, что он готов принять такую судьбу, в которой любимая женщина – и смысл, и содержание всей жизни. Но, повторим: все меняется. Шурик ее увлекся работой с молодежью.

Из рядов «комсомольского отряда» выделяется прелестная девочка Тая. Она моложе Александра почти на десять лет. «Тем лучше!». Густые темные ресницы Таи почти всегда опущены, будто бы девочка боится взглянуть и на Сашу, и на Ксению Яковлевну, и на Тамару – когда им случайно выпадает встретиться в гостях. Тая чаще всего приходит с компанией подруг. Но Ксения Яковлевна ястребиным глазом подмечает, что милый Шурик смотрит на Таю по-особенному, чуть усмешливо, но с нежностью. Отеческой, – чудится Ксении Яковлевне. «Он любил... нас обеих, – рассказывает Тамара. Тише, будто совсем уже про себя, добавляет: – Если он вообще когда-нибудь кого-нибудь любил»... В этом смысле Тамара не видит особой разницы между ними – Форовым и Александром.

Ну, Форову – его тренировки. «Вы хотите знать, неужели тренировки

– и ничего другого? Ну, нет, наверно: еще ему любо монотонное течение дней, без перемен, и не дай Бог, потрясений. А Саше ... горение... во благо молодого поколения». Таю Тамара не считает злой разлучницей. Хотя и знает, что скрывает девочка за опущенными ресницами.

«Господи, говорю я Ксении Яковлевне, когда однажды, открыв дверь, она стоит в смущении на пороге, словно сомневается, впустить ли. И после недолгого раздумия берет меня за руку, молча ведет в большую комнату, хорошо, Григория Ивановича нет дома, Господи, я говорю, неужели вы думаете, я ничего не знаю?»

Так случается не раз, если Саша не предупрежден о приходе царицы. Тамара не унывает, усилием воли старается подавить отравную ревность, напоминая себе, что причина-то – в ней самой. В этот период они вновь сближаются с Ксенией Яковлевной, подолгу ведут между собою так называемые женские разговоры. Старшая делится опытом, как обходиться с мужчиною, чтобы знал свое место, чтобы добиться от него, чего только не пожелаешь. Она не конкретизирует, о ком речь, однако, Тамара считает, что скорее всего – о Форове. «Иной раз отвернись в постели»... Младшая не возражает, слушает молча, не собираясь распространяться об отношениях с Форовым. О том, что тот, надо будет, возьмет со спины; предварительными играми он никогда не занимался, относится к своей потребности по-деловому. «Возьмет по-быстрому... Так что... захоти я показать ему себя, что могу, мол, и не согласиться... Ну, тогда спиной поворачиваться – не метод. Нужен скандал, что ли... по крайней мере, какие-нибудь ясные, а значит – грубые, простые слова. Но ведь тут же рядом спят девочки. И я – молчу»...

Бывает, Саша на тамарин звонок выходит сам. Сталкивается в темной передней с матерью; насмешливо и гортанно бросает ей, мол, не суетись, Ксения Яковлевна, не уводи к себе мою гостью. «Проходи, Тамара... Ко мне проходи. Ксения Яковлевна поесть сварганит». Тая поднимает пушистые ресницы, под ними оказываются печальные глаза.

«Тебе, Таечка, омлет приготовить? ... Таечка у нас, – Ксения Яковлевна обращается к Тамаре, – простую глазунью не кушает, ей омлетик»... Они болтают втроем, Ксения Яковлевна время от времени заходит – приносит две глазуньи, потом омлетик для Таечки, чай.

Сашка открывает бутылку вина им, себе – пиво. Берет гитару.

*... и слышался голос Тамары,
он весь был желанье и страсть,
в нем были всеильные чары,
была непонятная власть...*

«Ксения Яковлевна, – опять усмешливо, но ласково и гортанно обращается Шурик к матери, – а пива у нас больше нету?»

«Сейчас принесу».

Магазин рядом с их дверью, там для Ксении Яковлевны всегда есть пиво, даже в тех случаях, когда ищи его хоть по всей Риге, нигде не найдешь. Здесь продавец оставляет ей – за ласку, недорогие подношения к праздникам и, главное, денежную надбавку на каждую бутылку. Сперва продавец пытался было честно отдавать сдачу. Но Ксения Яковлевна певуче, неузнаваемо ласково ворковала: какая сдача, сынок, мы свои люди...

«Сашка втянулся, у него появилась, как теперь называют, «зависимость». Я не сразу оценила опасность пивка. Считала безвредным. Писал же еще Толстой об увеличении в России производства и торговли пива. Как более безобидного напитка, чем вино – так ведь в те времена величали и водку».

Александр все чаще сам выходит на звонок Тамары и, отодвинув Ксению Яковлевну, зазывает свою царицу к себе. Похоже, ему все больше нравится, как бывало встарь, посидеть втроем – с Тамарой и Таем, а то и еще с кем-нибудь, кто зайдет «на огонек». Берет гитару, поет Высоцкого, успешно подражая его интонации, картинно рыча в манере поэта-барда. В репертуар все же непременно врывается и песня про царицу Тамару. «Только... иногда мне кажется, что это... как бы сказать, имитация, что ли? Хотя он, может быть, и сам не понимает, что хочет еще и еще раз вернуть себе ореол любящего мужчины. И чтобы и мне казалось, что так он признается и признается в своей любви... Я замечаю: Ксения Яковлевна мне хочет сказать что-то по секрету. Выхожу на кухню, она успеваешь шепнуть, что Тая беременна. Тут заходит Сашка, со своей усмешечкой и нежной гортанностью обращается к матери – Ксения Яковлевна, о чем это ты? – переходит на ласковое «мамочка», просит, – чем секретничать, лучше бы изжарила яичницу на всех. – Тае тоже глазунью? – механически спрашивает мать».

А он обнимает свою царицу, уводит в комнату. Твердой походкой, ничуть не выдающей количество употребленного пива. Но все же его внимание постепенно делается менее напряженным, и Ксения Яковлевна ухитряется договориться с Тамарой о встрече без него, назначает день и час.

«Дома он, – шепчет, впуская Тамару, – но заснул, слава Богу. Приустал (то есть, запьянел, комментирует моя собеседница); даже и на работу не пошел. Хорошо, ему необязательно: комсомольцы у него вымуштрованы, сами по цепочке свяжутся. В поход собираются, на лодках по какой-то реке, забыла название, вниз по течению. А к походу Шурик проспится». Ксения Яковлевна сообщает все это скороговоркой, уводя Тамару в большую комнату. Плотно закрыв за собой дверь, усаживает гостью в кресло у журнального столика, подвигает чашку уже приготовленного к ее приходу кофе. И приступает к делу – важному, на ее взгляд, разговору. О том, что Тая беременна, что Шурику необходимо на ней жениться и обрести, наконец, семью и покой. «Ведь это и составляет, на самом деле, человеческое счастье. Поэтому... Томочка, умоляю: освободи Шурика!»

«Да я его не держу!»

«Знаю. Но ты поговори с ним, скажи такое... так скажи, чтобы он тебя с корнем выдрал из сердца. Чтобы забыл самое имя твое, не хотел бы его слышать».

«Она мать, я ее понимаю», – повторяет Тамара уже оброненные ранее слова. Сгорбившись, сложив руки на своей тросточке, почти налегая на трость всем телом, царица глядит в землю. Рассказывает, что Ксения Яковлевна просит не оставлять Шурику никакой надежды. Что, как бы сильно ни ранили сердце сына слова царицы, он, как всякий мужчина, забудет о них, рана его зарубцуется. «Она хотела, чтобы он был счастлив»...

Тамара глядит на Ксению Яковлевну во все глаза. Она не находит в себе силы ей отказать. По-видимому, мать Александра была права, считая царицу сына мужественным человеком, уже крепко стоящим на своих ногах. Иначе непонятно, почему, говоря о ране Шурика, которая «зарубцуется», она не поминает ни словом ... тамарино сердце.

«А когда Тая родит сына»...

«Почему-то Ксения Яковлевна уверена, что это будет мальчик. Считает, что у ее сына не может быть иначе: от него обязательно

родится сын! ... Кто знает, не потому ли она так и не признала вслух, что моя Валечка – от Саши»...

«Когда я возьму на руки внука... когда почувствую его тепло... тепло родной крови»...

«Что же тогда?» – невесело усмехается Тамара.

«Тогда все станет опять попржнему».

Царица язвительно всхохатывает, «как же это попржнему, так не бывает». Тамара и до сих пор не поймет, по наивности «несла этукую чушь Ксения Яковлевна или по лукавству».

Отказать она не может: эта женщина долгие годы была к ней так добра. Когда Александр вернулся из армии и мать увидела, как убило его сообщение о замужестве и материнстве царицы, то сокрушалась, сильно сокрушалась: не знала я, уверяла сына, что ты ее так сильно любишь, а то бы взяла Тамару в наш дом, раз ей так приспичило уйти от матери и отчима. «Саша сам рассказывал мне об этом». Ксения Яковлевна помогает Тамаре закончить заочную учебу: «Я могла, – говорит царица, – придти к ней в любое время, чтобы в тишине посидеть над своими книгами. Ксения Яковлевна уйдет, бывало, гулять с моим ребенком, вернувшись, незаметно стготовит обед, накормит нас обеих...». То есть, этот дом был родным для Тамары и в отсутствие Александра. Ксения Яковлевна умела выслушать Тамару, та могла откровенно ей рассказать обо всем – и о Форове, и о девочках, о несданном зачете в вузе, о неудачах первых лет работы в детдоме. «Правда, советы этой восточной женщины, пусть и умудренной опытом, не всегда оказывались полезны... часто и совсем неуместны... Да ведь я и не просила совета, мне просто хотелось выговориться»...

Тамара, видно, устала от своей исповеди. С трудом выпрямилась, с трудом подняла голову и во второй раз за время своего монолога взглянула на меня широко открытыми глазами желтовато-зеленого цвета – и усмехнулась: «Не вышло, как она хотела. Все равно ничего не вышло».

«Но он женился?» Тамара отрицательно покачала головой.

«Но ребенок-то родился? Девочка?»

«Никто не родился: Тая прервала беременность»...

После разговора с Тамарой Ксения Яковлевна тихо, на цыпочках вошла к сыну. Сон его всегда был чуток, как только мать вошла, он тут же открыл глаза.

«Тамара? У тебя Тамара?»

Ксения Яковлевна утвердительно кивнула, позвала Тамару – заходи.

«Я зашла. И в точности исполнила ее просьбу. Сказала: на фиг ты мне сдался, что ты собой представляешь, неуч. Комсомолочки, ха – еще два-три, от силы – пять лет – и ты станешь стар для вожака молодежи, тебя выкинут, как ненужную тряпку! Зеркало возьми да погляди: на хрена такой мне! ... Из моего рта, как в сказке про родную дочку и про падчерицу, сыпались змеи и жабы, всякие гады. Больше всего, и я это знала, задели слова про его притворство, что он, как юноша, всё изображает из себя артиста на сцене. И еще то, что я обозвала его «губернией»: он ведь по отцу из поволжского захолустья... Это нынче, в последние годы, Сашка с запоздалой гордостью вспоминал поволжскую ветвь своей родословной, отец, мол, из крестьян, чуть ли не крепостных, выбился в офицеры Красной Армии. Но тогда... Сашка считал себя кавказцем, невнятно плел мне какие-то семейные предания... помню, что-то о родовой мести... он несколько раз побывал в родном селе Ксении Яковлевны – и всегда, уезжая, прощался со мною, мол, может и не вернуться живым. Словом, ему дорога была эта часть легенды о его происхождении... Я знала, что обозвать «губернией»... «Неуча» он бы как-нибудь проглотил... Выходя, я чуть не стукнула Ксению Яковлевну по голове дверью – она подслушивала»...

«Что ты ей сказала, мерзавка? Чем ты ее оскорбила?»...

Со странным упорством, отчаянием он исступленно задает своей царице этот вопрос на протяжении почти сорока лет.

«После моей отповеди мы, понятно, не встречаемся. Александр, как и надеялась Ксения Яковлевна, не хочет меня ни видеть, ни слышать. А я... я так сильно порой затоскую по нему, вдруг, ни с того, ни с сего. Не удержусь – позвоню... Пока жду его голос в трубке, тешусь иллюзией, что... ну, что... ну, не знаю, что... все отошло, быльем поросло. Быть может. Но слышу все тот же вопрос – что ты ей сказала?»

Тамара считает, что ее отповедь достигает обратного эффекта, полной противоположности желанию Ксении Яковлевны. Саша глубоко уязвлен. И это возрождает его чувство к ней с новой силой, к нему примешана отрава. Он не может, не хочет связать свою судьбу с Таей. «Или Тая не может, – оговаривается Тамара. – По своему, еще не утраченному максимализму молодости, еще неукрощенной гордости?»

Не нужна ей подачка, его готовность жениться из чувства долга».

Прервав беременность, Тая постепенно отдаляется от Александра, и он ее не удерживает. «Но я знаю, как нелегко ему далась разлука с Таем». Тамара старается объяснить характер Саши, говорит, он уже в ранней молодости всем свои видом стремился показать безразличие. И тем отчаяннее пытался скрыть, чем сильнее были переживания на самом деле. «Я, сдуру-то, поверила – плевать ему с высокой горы. На друзей, на любовь... Но потом... Я же видела, как он привязан к сестре Томке, к матери... Ни той, ни другой уже нет на свете. А Сашка... Никогда бы не поверила! В свои последние годы он был преданной нянькой у внуков Томочки»...

«Ксения Яковлевна боготворила тебя! Что ты ей сказала?»

Когда царица уходит после отповеди, Ксения Яковлевна долго и безутешно плачет. Сашка, молча проклиная Тамару, обращая мысленно к ней самые отборные ругательства, отпаивает мать сахарной водой, валерьянкой, но та все не может и не может успокоиться.

«Ну, а моя мука?! До феньки, да? Не знаю: может быть, Ксения Яковлевна как раз... меня жалела. Я ей сказала... на прощание... Я, дура, надеялась, что Сашка не поверит моим словам! И лишь позднее поняла – поверил, по своей мужской бесчувственности»...

Все же частично расчет Ксении Яковлевны оправдался: Шурик до самой смерти матери не хочет даже слышать о Тамаре. Мать старается ему не напоминать, но изредка из ее уст все-таки вырывается доброе слово о царице. «Ксения Яковлевна тебя боготворила!» «Я молчу в ответ, а про себя думаю – еще бы! А его другой раз не удержусь спрошу: этакую мерзавку? Он и тут не догадается, хотя – куда уж понятнее. Правда, моя отповедь была ему как удар – топором по голове. Анестезия в своем роде. Поэтому он ничего и не чувствовал».

Тесные, дружеские отношения между Тамарой и Ксенией Яковлевной после отповеди ее сыну не прекращаются несмотря на то, что их встречам теперь препятствует жаркое желание Саши не видеть царицы. Женщины все же находят возможность видеться, его ведь часто нет дома. То он проводит время с комсомольцами, то уезжает сдавать экзамены – он поступил в ленинградский вуз, на заочное отделение: хотел Тамаре доказать, что насчет «неуча» она ошиблась. Царица узнает об его учебе в Ленинграде от Ксении Яковлевны, та неизменно ее посвящает в подробности жизни Александра.

Спустя несколько лет Ксения Яковлевна тяжело заболевает...

«Похоронили»...

«Ксению Яковлевну?»

«А? Да: ее-то – да, само собой, уже давно. Но я про Сашу. Его на днях похоронили. А в ночь перед кончиной я его увидела во сне. Голос донесся. Так-то я его часто видела; по-разному. Бывает, мальчишкой придет, подростком. В другой раз – вернувшимся из армии, бледный такой, после атомной подлодки... А тут – слышу голос! И гитара играет – царица Тамара жила... Голос звучит еще нежнее и гортаннее, чем бывало. Вот и говорите после этого, что повторений не бывает. Тем более, если что-то очень хорошее случится: так сразу и обозначат – неповторимо. А ведь самое лучшее-то как раз и повторяется, так чудно отражается во сне»...

Теперь, когда его не стало, она силится понять, кого он больше жалел после ее отповеди. Ей кажется, что Сашка только наружу показывал жалость к якобы непростительно обиженной Ксении Яковлевне. Потому все и спрашивал: «Что ты ей сказала?» А на самом деле... сам же проговорился: «Могла разлюбить... но и уходить надо по-человечески».

... Болезнь Ксении Яковлевны оказалась смертельной. Тамара ее часто навещает, уже не стараясь выбрать момент, когда Александра нет дома. Он молча распахивает дверь, окидывает царицу пристальным взглядом, мгновенно обливающим презрением. В последнюю встречу, – Тамара еще не знает, что видит ее в последний раз, а Ксения Яковлевна чувствует приближение своего часа и, прощаясь, говорит: «Ты, Тamarочка, на мои похороны не приходи... я понимаю – Шурик все равно узнает о твоих последних словах, тогда мне сказанных, после отповеди. От тебя узнает. Пусть. Но только не в день похорон... обещаешь? Прости».

Это «прости» она шепчет совсем невнятно, Тамара не уверена, что правильно прочитала его по движению губ. Все же невнятный шепот запечатлелся в памяти, повторяется в ней отчетливо, будто бы с помощью странного звукоусилителя. «Обещаю», – тихо говорит она умирающей. И опять не уверена, услышана ли, да и вслух ли обещает, не звучит ли обещание только в ней самой, тоже с помощью звукоусилителя. «Прости», «обещаю»... только бы не разреветься при ней. И, не дай Бог, – при нем, когда выйдет закрыть дверь за нею.

«Что ты сказала ей?»

«Сказала, что обещаю».

Тамара и сейчас, после ухода Александра, недоумевает, как мог он не понять. «Что же, она, Ксения Яковлевна, совсем была дурой, по его мнению? Мерзавку боготворила? Идиот!»

Она горбится, чуть не ложится на руки, поддерживаемые воткнувшейся в землю тростью. «Слава Богу, я успела»... Слабым голосом рассказывает: почти сорок лет не встречались они с Александром, лишь несколько раз, мельком, перед уходом Ксении Яковлевны; и она видела в его глазах презрение к себе... даже ненависть... от которой до любви – два шага. Он – читал лишь усмешку, «не понимал, – говорит она, – что за усмешкой-то – неизбежная жалость: к себе, к нему, к его умирающей матери... Сашин голос я слышала только по телефону. Звонила, конечно же, я: от него не дождалась ни звука; а сама все же не могла иной раз удержаться – в минуты отчаянных приступов тоски, когда с иступлением думалось, ну, почему, почему я не ушла от Форова, и когда делалось все равно, что скажет Саша, лишь бы услышать его голос... голос! нежный, гортанный... и так ничего и не услышала от него, кроме проклятого вопроса «что ты ей сказала?»

Уже незадолго до кончины Александра Тамара узнает о своей неизлечимой болезни.

«Сколько мне осталось?»

Врач ответила, что это неизвестно, что болезнь может развиваться и медленно, тогда осталось несколько лет; но что может и очень быстро. Она тут же поспешила оповестить об этом Александра – через подругу, ту самую, брат которой их когда-то познакомил. И стала ждать, что, может быть, он позвонит и все-таки захочет с ней повидаться.

«И он – да! Он позвонил!»

Она сказала, что сейчас приедет...

Тамара рассказывает ему всю историю отповеди. Он слушает молча и грустно. Над внутренним балконом, где они сидят теплым июньским вечером, опускаются легкие, почти прозрачные сумерки. «Может быть, следовало обняться на прощание. Но он не сделал нужного жеста. Окаменел. Сидел, как истукан, и даже не спрашивал больше о словах моих, после которых Ксения Яковлевна так долго и так безутешно плакала. Я сама сказала: мавр сделал свое дело, – мавр может уходить... И тут же встала, говорю, пора мне... Мы ведь, еще при жизни Ксении

Яковлевны, разъехались в противоположные концы Риги: они – в Задвинье, а я в новостройку на Югле; и я не могла, как прежде, в пять минут добежать домой, мне предстояла длинная дорога, с пересадкой. Мы вернулись в комнату, я шла впереди, и он заметил, должно быть, мою тяжелую походку. «Тамара...» Может быть, хотел спросить, доберусь ли, не лучше ли заночевать. Но, видно, сробел. Или не хотел обидеть, показав, что заметил мою немощь. Прощаясь, попросил никому не рассказывать об этой истории. Да кому?! Боже мой, какое кому дело?! Сашка имел в виду свою племянницу, справедливо считая, что той не нужны такие подробности. А мне, теперь, когда его не стало, так хочется пригласить ее к себе, посидеть с нею, вспомнить... но я боюсь проговориться. Выплю стопаря – и непременно проболтаюсь»... – Тамара, подняв голову, лукаво мне улыбается. «Не искушайте»... «Все равно... главное – успела».

Увы: нередко мы не знаем, что же надо успеть сказать на прощание, о чем же спросить. Главное, не забыть о любви. Каким бы затасканным ни казалось это слово от частого повторения. Например, в кинофильмах. Мамы и дети, мужья и жены его говорят при расставании или в разлуке – по телефону; прощаясь на ночь... Или, может быть, навсегда.

Я люблю тебя.

Я вас любила.

ПИРОЖНИЦА МАРИЯ

заледенеют раны и ранки
она шьет шинели с глазами закрытыми
на станциях мира всего выюжит
теплым телам не попасть домой
она смеется на липайском морском побережье
ей на руки льется кровь золотая
сонная рыба в которую семя волна вливает
всё не так просто и всё не напрасно
она думает она встает она под танк ложится
простая женщина будто безликая
простая женщина только белая
идет от дерева к дереву
в лоне дитя говорит с солнцем
утром смеется девочка
простая девочка только белая
заледенеют раны и ранки
пишет она с глазами закрытыми
на станциях мира всего выюжит
всё не так просто и всё не напрасно

* * *

На вечер поэзии ангел явился, пришел политик, два латыша древних
и радость,
осенние листья пришли шуршащие, глядя глазами ручьев; пришел
странный свет,
пришел первый снег,
новая песня пришла, ждала, чтоб ее запели.
Встала девушка – белое пламя, встала девушка – новый день,
встала девушка – гнева и красных яблок сестра,
я есмь, она со смехом сказала,
я есмь, прошептала, плача,
я есмь, идя через мост, краска летнего вечера,

я на подоконники ваши прольюсь, спят за которыми дети,
где лилии пахнут так сладко, как ром гаванских ночей,
я к женским грудям притронуся, что наклонились, хлеб выпекая,
я горю на руках у мужчин, когда пламя костра уймется,
я есмь, ибо мир во мне, через вас новый день воспеваает,
белую силу жизни, безмолвно, спокойно быть,
я тихим, простым вздохом и языка касаньем,
вам губами поведаю вашими, как исчезает страх.
Я есмь, ты еси, и мы тоже, какая легкая речь и живая,
как прилив, как утренний свет над спокойно спящими,
мы будем жить, как море живет, любовью, простором,
мы будем жить единственный раз,
что означает – вечно.

УЕЗЖАЯ

Полон слезами аэропорт – хоть уплывай пароходом,
Он полетит самолетом,
Она – с коляской по мостовой.
Вы уедете все, а нам что же делать?
За Домским собором какие найдем восходы,
Какие пирожные в рижском кафе,
Как прочитаем мы ваши книги,
Когда они, став дирижаблями, нам затемнят ваши лица,
Что станется с нашей завистливой крохой – республикой,
Миской, залитой солнцем, зимой она пахнет дровами,
А веснами – юностью, летом шуршит под босыми ногами,
Где вперед нам дороги нету, зато есть дорога к дому.
Как быть с потоком искристым, который, задержан и сдавлен,
Клопочет внутри вас и выход ищет наружу,
Как с этим теченьем, которое, вырвись на волю, очистило б поле
И там бы посеяло слово?
С деревьями теми, растут которые, с теми детьми,
Которых успели посеять в женах,
С обетами теми, срок исполненья которых
Отложен на завтра и дальше, – когда будут больше платить?
Я вас умоляю – не уезжайте,
Сколько же может в конце-то концов съесть человек?

Тогда мы, возможно, все вместе когда-то рванем в Париж или
Лондон,
может быть, в Рим,
Солнце сюда привезем, чтобы душу зимою согрело, и полные сумки
дональдсов.

Тогда заиграем джазы в не очень богатых блеском наших гостиных,
И мы же еще станцевать можем,
Чистить картофель, иные – даже сажать,
Вдоль моря бродить хоть в обносках.

Зачем вам дворцы золотые, зачем пятнадцать мужей, за труд
– человека
достойная плата?

Утром проснувшись, всякий достойный пьет кофе горький и
улыбается,
стиснув зубы.

Конечно, они – идиоты, крадут и нас дураками считают,
Пошлем их подальше, чтоб легче дышалось грудями дюн.
А убегать от подлых совсем не стильно,
Не смелость это, и сила не в этом.

Есть еще хлеб, простая одежда и воздух,
Не уезжайте, я вас умоляю,
Жизнь надо жить,

Нет у нее гарантийных талонов, – в Брюсселе предъявить,
Когда на куски разломаются старые.

Прошу вас, дайте мне новый!

Они-то дадут, а эта песню затянет – и всё про деньги.

Да: мне прискучило тоже, что мы всё поем,
Когда жизнь надо жить, и одному неохота.

Выжить это главное, конечно.

Но как же слова, что у вас внутри
Все поломаны и на чердак заброшены, пылью покрылись,
В девичьи втиснуты, рты – позаклеены,
Вповалку, пьяные на кушетке бабушки.

Они ведь живы и скоро проснутся, вам что-то скажут.

Мы все, понимаешь, о лучшей участи думали,

О верном супруге, красивом ковре.

Мы всё получили, что нами заслужено, – и бегство тоже, чтобы
начать
с чистой страницы

И всё же понять, с болью понять, что деревьям не вырасти без
корней,

Они захромают – ноги у них из пластмассы.

Ты думаешь, ты – всех лучше и в Средиземноморье стремишься,

Ты и был бы лучше, если б остался и понял,

Какая задача твоя в языке, на этой земле, в толпе завидующих,
поющих, крадущих,

Быть может, мы вправду бы поняли это в тот день:

День после того,

Когда прекратим убегать.

Из цикла «БЕРЕГ СОЛНЦА»

*

из тех медуз что сохли на песке
мой выбор пал на самую сухую
едва напоминавшую медуз
скорее – только контур и лучи
внутри его (как шрамы на виске
адепта фехтовального искусства
на день второй в гробу) ее скелет
напомнил иероглиф или слог
системной фразы yí wang ch yng shern
которую я выучил не зная
к чему приводит знание ее
зато теперь мне ведомо откуда
(и что сказать дотошливым славянам)
ведет свой род и племя мой скелет –
из тех медуз

*

и это песок? что за влажное слово: песок
и это волна? повторяю: вольна – не вольна...
такая вот гладь – хочешь смейся а хочешь погладь
ту сосну ту скамейку ту лодку ту нервную клетку
в которой живет обожженное сердце улитки
(чур в домике – здесь не проходит)
да здесь и ничто не проходит
здесь все остается таким каким больше не будет
здесь все остается – сосна и скамейка и лодка
и два человека один из которых улитка
второй из которых чур в домике и не вернется
здесь все остается таким каким меньше не будет

ТЕБЕ О ГОРОДЕ В.

я шел простым самоубийцей
по середине мостовой
пусть ближняя но за граница
а стало быть и мир иной

и был ноябрь обыкновенный
проникновенный ветер выл
как будто на краю вселенной
край ветра кто-то прищемил

и падал снег – о нет! не падал
а просто выпал и упал
как нечто сброшенное на пол
переполнявшее астрал

и был уход обыкновенный
как по себе да не в себе
я так же мог бродить по вене
экибастузу и москве

не видя лиц не зная брода
заныкав голову в картуз
оттуда мыслить: вот уроды
и гребаный экибастуз

ушла любовь? но что-то вроде
должно же было быть во мне
чтобы по этой не природе
бродить по этой стороне?

и я бродил и оготело
шатались ветки и кусты
наполненные до предела
вином древесной густоты

и словно устрица без тела
дом растопырил свой гранит...
но ты о городе хотела?
да что с ним станется... стоит

Из цикла «ПЕСЕНКИ ФАУСТА»

"Он не заслужил света, он заслужил покой..."

М. Булгаков.

*

волна несла волну к волне
от пены отбегала пена
покуда беглый ветер не
настиг себя (возникла тема
конца? Напрасно – бес конца
лишен напрасных черт лица
а я о вечном) тонны лун
сменяли тонны тонн слепящих
бесцветных солнц как птиц парящих
в черте оседлости лакун
в лагуне неба – свысока
все кажется конечным телом
одно лишь слово беспредельно
и слово это смерть – пока
душой я мысленно сбегал
от айвазовского отвала
в те дебри где цветной шагал
рассвет по василькам Шагала –
смерть стала меньше

*

пью воланда вино и медленно совею
трем счастьям не бывать одно не миновать
мне вечная любовь – ошейником на шею
ни дня не отличить ни ночи не летать
но все-таки покой не лучшая отрав
и каменная страсть не пища для ума
и этот поводок – безбожная забава
и не заслужен свет и не пугает тьма

*

звезда ничуть не источала света
серела мгла не истончая тьмы
сияла высь как купол минарета
над миром остальной величины
река смежала снежные пространства
сугробы сбились в спящий караван
и в небеса лениво поднимался
кромешный но всевидящий туман

9 x 12

Можно переживать, что не удалось заснять на память о чем-то самую маленькую фотографию. Но это ошибка: радость от увиденного превратится в досаду. А можно записывать то, что увидел. И укладывать в скромные рамки – формата 9 x 12 см.

* На седьмом небе облака – помоложе и постарше. Глядится в реку солнце, но косит глазом левее тучки и видит меня. Слепит воздух, весь в длиннопалых лучах веером, слепит уже чуть цветное серебро воды. А между ними – прослойкой на фоне вечности – еле заметные против света, понарошку вставленные в береговой пейзаж дома.

* О тебе говорят в р а з р я д к у, чтобы между буквами имени поместилась бесконечность. Или пустота.

* Наружная лестница при доме в Старой Риге то ли не добежала до земли, то ли подпрыгнула, подтянулась и расти начала сразу между этажами. Ступени для Ромео: без любви не одолеешь, без серенады промахнешься и мимо пройдешь.

* Рыбак освободил случайную рыбку и сначала обмыл ей бока, чтобы человечинкой не пахла; побаюкал на руке, погладил и отпустил. Будет теперь к кому обращаться по поводу корыта для жены.

* Тени от дерева, телеграфного столба, человека толпились на тротуаре, перебивали друг друга: «Могу быть тенью дерева!» – «А я тенью столба!» Моя тень молчала, обратившись в слух, и смотрела с земли сутулым знаком вопроса.

* Ящик дворника затих в кустах – застенчивый или деликатный, сам себе рояль.

* Водрузила ребенка на газонный стожок, сама пристроилась рядом: тесной кучки сена на двоих не хватило. Сидят городские пейзажи – малыш весь в мороженом, над мамой в луче мошки "мак толкут". Мороженое – с маком. Сытый город – с сеном в яслях.

* Тени от листвы пульсируют в траве – чье-то сердце под чьей-то нескошенной шерстью.

* В долине весна, а в горах зима с редкими полянками в крокусах. Ветвям тяжело под снегом, молчат ели – руки по швам. Чуть распоролся шов – и сместились масштабы, и юркнула в зазор между черно-белыми лапами цветная миниатюра: вид на зацелованные солнцем прямоугольники земли, сады в цвету. Там все звуки, все запахи, там жизнь – мираж без обмана.

* Солнце застыло в зените: поющие дети попросили его быть всегда.

* Идет снег, и непонятно, как удастся дышать, не захлебываться этой густо заваренной на зимнем тепле темой из "Щелкунчика".

* Первое утро тысячелетия. Упрятанный в пустоту город. Жизнь замерла на старте, а на экране из тумана – не известно к чему подвешенные неоновые нули обновленной даты. Все.

* Рассказываю о дивном Луи де Фюнесе – куда до него Чарли Чаплину! Папа тихо слушает, гладит: "Какая ты все-таки еще маленькая!" Любимая, богатая, с завитушками в улыбке и с Фюнеса ростом.

* В электричке заплетаю папе косички, нарадоваться не могу, что разрешил, а он весело и быстро взглядывает на пассажиров. Едут все равно куда два счастливых одинаковых человека, большой и маленький, один чуть постарше.

* Папа усадил меня к себе на колени и водит по голове колючим подбородком – расчесывает. Такие они, дальние границы нежности, все в нейтральную полоску проборчиков вместо бантов необычайной красоты.

* Бреду я со своим "ФЭДом" в зимнем пальто по маю – откуда-то из глубокого Советского Союза прямо в ЕС.

* Мама говорила, что я у нее поздно нашлась. Как багаж, намаявшийся путешествовать по миру.

Мама рано потерялась. Сказанное, но вряд ли услышанное слово, и уже не переспросить, не извиниться, что отвлекалась. Не пришитая пуговка – и не согреться.

* Лето впрыгнуло в позднюю зиму, и закудрявилась, заприхорашивалась жизнь, заугощала, чем богата, разложила котов по траве цветными кренделями. Жизнь суетится, а коты спят.

* Плетемся под утро в гостиницу, мимо ведут девочку. Притормаживает возле меня, узнает: "Баба-яга!" Так и живу, с пририсованным носом, накладным возрастом, а теперь еще и с черной кошкой на горбу.

* Дали занавес. Зритель тянет к актеру ручки. Гений сделал свое дело. Слово толпе.

* Главная идея заката – в его протяженности, в печали угасания красок. Зря фотограф щиплет затвором неприкасаемые, преклонные минуты дня.

* Юная листва еще не приладилась к веткам и едва проснувшиеся цвета плавают отдельно – намеком, флером, эскизом декорации, приблизительно совпадая с контурами стволов и ветвей. У деревьев головокружение, у туркмен – Международный день театра.

* Парковый фонарь высидел в снегу полянку – блюдец земли с лиловым яйцом вереска. Расцвел подарок к ранней Пасхе.

* Окно, зачеркнутое веревкой, и в нем человек, согласный смотреть на мир сквозь розовые носки.

* Уходящий ввысь клин черного капюшона, белый треугольник бороды поверх одежд, в центре ромба солнечные очки. Не Католикос, не герой Хармса, а кто-то свой возник из-за поворота, словно спросил: смеяться или бояться будем?

* На ноже написано: "Нерж". Это город, где нож изготовлен, где-то на севере и обязательно у воды. Туманный Нерж: прохожие выныривают, как со дна переводной картинке, и представляются: "Подпоручик Киже".

** Деревья побросали коврики каждое к своему подножию и приготовились к медитации.*

* По ночам в шкафу – темно, дверца кашляет, вешалки щелкают орехи – дотягивалась до лент и вплетала атлас в косички. Это была сворованная, накладная радость не по возрасту – подвигать головой и почувствовать на лопатках шевеление настоящей прически. Это было первое в жизни снотворное – нарастить пряди и лечь на правый бочок.

* Снег вернул пейзажу черно-белую суть, успокоил, и только машины хлопочут по оцепенелой картинке, гоняют цветные огни, которые уже ничего не могут изменить.

* У птиц окончен день забот, сидят рядком, как на завалинке, благословляют тьмы приход, перебалтываются: мол, спать надо идти, да от телевизора не оторваться. А в телевизоре – сплошные закаты...

* Летят чайка и ворона, выясняют отношения: то светлые силы берут верх, то темные, а чей верх, того и воля... Мы живем внутри сказки и каждое утро назначаем в ней место для себя. Во что бы одеться – в белое или черное?

* Сын умершей художницы задумал переехать, но со стороны – немного сбоку, немного сверху – видна истина, которую еще не осилил мальчик: у него есть все, больше ничего не нужно, ни евроремонтов, ни новоселий, и это все – картины мамы, писавшей рай на своей земле. Конспекты рая на стенах, и воздух бьет тихими токами – густой, счастливый, стрекается.

* Мать живет среди картин дочери, в своем трехкомнатном Лувре, в который грех продавать билеты и страшно пускать чужих. И

картины живут – там, где родились, среди тех, кому посвящались. Для них тоже радость не на чужбине век коротать. Не продаются, не прячутся – трутся о бетонную стену щечками: покосилась одна, сорвалась и топнула об пол другая...

* Птицы летят вытянутой, кое-где не залатанной тучей и тихо втекают в единственное дерево, домой.

* Привожу кота, представляю: "Это Кустик". Папа улыбается: "А кошка была бы Веточка?"

В начале было слово, потом родилась Веточка – через 15 лет после папиной смерти.

* Опереться о стоящего за спиной и ощутить, что не о каменную стену – о теплое древо... Стоим рядом, чуть сместившись друг по отношению к другу и к истине: он правее – я левее, он хвойный – я лиственная. Он в черных иглах, я в завтрашнем листопаде: красивая была бы пара.

* Воспоминание о непрощедшей любви, как о покинутом деле: подвели дом под венец, а праздновать не стали.

* Хорошо с подругой на морозе снежками говорить. "Ленка, дивно-то как!" – мой снежок. "А ты как думала!" – ее. Если сложить из них бабу, получится памятник оптимистическому единому сердцу. В общежитии будят среди ночи: "Морковки для носа не найдется?" И гурьбой дальше разговаривать бегут. Вытаптывать: "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" – ни имени, ни указания рода, и каждый принимает на свой счет.

* Общежитские комнаты, нумерованная мебель, белые потеки с цифр на полированном фоне. Как оплывшее мороженое для больного ребенка: радуют глаз. Цифры – на сердце. Номер комнаты – подарок на память. Обернут в нежность к происходящему. А потеки – как бантики.

Это были разные комнаты. И разговоры везде разные. Как у Зиедониса: где словами как хлебом делятся, а где как мячиками

перебрасываются. В моем доме говорили за чаем.

Кто бы ни пришел, все равно получалась такая картина: сидим, чай пьем. Стол с цифрами по бортику – смысловой центр композиции. Колорит вольный, в зависимости от освещения: день? ночь? И чаепитие в ранге обряда.

Напиток у нас бледный, потому что долгие беседы. Сократить – значит оформить в жанры: прологи к романам, афоризмы, просто автографы... Кто-то исписывает уголок своей фотографии: "Помни меня, пожалуйста!" И смотрят оттуда незабываемые глаза.

В остальном ценность фотографии зависит от атрибутики. Вот самая дорогая: стол с номером комнаты, на столе чайник. Пожалуй, все.

** "Почему все армянские песни грустные?" – "Потому что все наши песни о любви!"*

* Девочка срезала розы, и когда папа попросил подарить одну, без паузы протянула цветок. Она победила: смешной взрослый проверял ребенка на щедрость.

Как загладить неловкость? Пристроить розу за ухо? Засмеется девочка, запомнит красивого дядю, станет узнавать в сценах из испанской жизни, и будет папа жить долго, пока жива она.

* Разморенные до пота в коре розовые сосны, кем-то взятое в скобки болотце... Взгорки в черничнике ведут, как по кочкам, куда-нибудь еще, где лучше, а лучше не бывает – знаешь, но идешь, гладишь глазами вереск, слушаешь, как шуршит временем море в песочно-галечных часах.

* Закончился год – насорил фактами, завалил подарками, из которых, спасибо, подошли один или два... И наступил год другой – вон он, на цыпочках и весь в мишуре, расколупывает упаковку на новеньких чувствах, запускает процесс порчи.

* За окном лежит в покое снег, пожилой и предвесенний, – оплывшие, смазанные временем, лишённые выражения черты. Уж лучше смотреть в небо: сплошное пространство и никакого времени года.

Никакого времени?! И облако в раме тихо сдвигает картинку вправо.

* Клара не уклоняется от маминых пирожков с морковкой, берет: «Спасибо!» – «Пожалуйста!»... Вспыхнула в форточке алая начинка, и вот опять сидит смиренная девочка, внимательно ест все, что дают. Словно вырезали из фильма кусок ленты – дернулся человек, а за окном вдруг разлетелись по ветру первые Кларины кораллы.

* Мелко под землей во дворе обитали "секретики" – фантики, лепестки под стеклом. Сочинить мирок из подручного материала, заслужить, как похвалу, право на тайну и тут же приобщить к ней подругу.
У взрослых на такой почве мыльные оперы растут.

** Меня нашла судьба: я сидела дома и пряталась.*

* Урок физкультуры, мимо проносится и исчезает в перспективе одноклассница. Была ли девочка? Наверное, была. Ну та самая, у которой всю жизнь последний круг вокруг стадиона, когда у меня первый.

* Папа весело прореживает в шкафу мои бывшие платья и выносит из дому навсегда. Мы идем в парк ваять из снега кресло – вылепим, сядем, и нужно, чтобы не поплыла игра.
Трон с секретной звездой под ножкой продержался на газоне неделю. С аллегорией власти не очень-то поборешься, даже если ты дворник.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В апреле нынешнего года Латвийское общество русской культуры совместно с редакцией «Рижского альманаха» провели Чтения прозы. ВЛАДИМИР НОВИКОВ получил на Чтениях первый приз.

Второе место заняла Инара Озерская, третий – Алексей Герасимов.

АХ, МОРЕ, МОРЕ!

Лето 1964 года. Общий вагон поезда вслед за локомотивом, рассекающим ночь прожекторами, устремился к литовскому берегу. Мы едем в город Клайпеду. В порт! У меня настроение приподнятое. Другие пассажиры – кто клюёт носом, кто, высоко задрав голову, похрапывает, кто – опрокидывает рюмку за рюмкой.

– Постарайся уснуть! – назидательно советует мне однокашник по мореходке Вася Никифоров. – В море на это времени не будет.

Вася имеет право советовать – он поступил в мореходное училище, уже отслужив в рядах армии.

Мы закончили второй курс судоводительского отделения и с направлением в кармане готовимся ступить на палубу танкера «Артек», который как раз к утру должен пришвартоваться у нефтебазы Клайпедского порта. Мне к тому времени исполнилось 17.

Не знаю, клевал ли носом, задирали ли голову вверх, но заснул крепко. Да и Вася не отставал от меня. Так что в Клайпедке нас разбудили другие пассажиры:

– Морячки, подъем! Аврал!

В штате танкера

По раздобытому еще в Риге плану находим автобусную остановку, 20 минут трясемся по полугородской-полупроселочной дороге – и входим в проходную нефтегавани. Проблем особых нет. Похоже, проходная работает по принципу: «Всех пускать без придинок, выпускать – помучив, постращав и обнаружив!». А как иначе, моряк выходит в город с судна, пришедшего из богатых на дешевые товары портов, и тут уж, кто кого – моряк-контрабандист или вахтер-вохровец.

Дорожка от проходной ведёт прямо к трапу танкера. «Артек»

выглядит громадным «океаноходом». По его трапу нам приходится подниматься почти вертикально. Объясняется это тем, что судно только-только сдало на берег балласт и грузовые танки его пусты как громадные воздушные шары.

Наконец мы с Васей на судне.

– На практику? – спрашивает разудалый вахтенный у трапа.

– Ага! – киваем мы.

– Молодцы, прямо к завтраку успели. Давай за мной!

С самого начала знакомства с судном меня поразили палуба, сахар-колбаса-масло и старпом. К старшему помощнику капитана мы направились в сопровождении вахтенного сразу после завтрака. Михаил Михайлович, так его звали, был человеком коренастым, плотным и насупленным. На нас старпом не смотрел. Вернее, пытался смотреть, но нависающие брови и давящий лоб не давали взгляду вырваться на свободу. Говорил он тоже примечательно – громко и трескуче. Именно за необычный тембр голоса моряки танкера меж собой звали старшего помощника Телегой. Как будто все телеги скрипят. Ведь их смазывают! О таком прозвище я узнал позже, когда уже работал под руководством моего милого шефа – судового повара, иначе – кока – Михаила Станиславовича Харлицкого.

Нам с Васей старпом «продребезжал»:

– Вы будете в штате.

Это означало, что нам предстоит не только проходить практику как будущим штурманам, но и работать в палубной команде, получая зарплату.

Вася, бывший матрос десантного корабля, пользовался большим, чем я, доверием, поэтому и был удостоен «поста» уборщика. А мою фамилию поместили на самой нижней строчке судовой роли – я был назначен камбузником. Нам повезло: двум матросам надо было списаться на выходные, их списали, уборщик и камбузник пошли на повышение – в матросы, а мы, практиканты, заняли их места.

Ах да! Надо объяснить, чем же меня поразили сахар-колбаса-масло и палуба.

Когда вахтенный матрос привел нас в столовую команды на завтрак, колбаса, сахар и масло распределялись не по порциям, как в мореходном училище, а ешь – не хочу. Масло – в масленке, сахар – в сахарнице. Василий стал опасаться, что эдак можно и растолстеть. Я

этого не опасался, так как уже не был худым.

А палуба? О! Палуба! Когда мы с Васей оказались на борту стоящего у причала Клайпедской нефтегавани танкера, солнце уже светило вовсю. И отражалось в главной палубе теплохода «Артек», окрашенной зеленой эмалевой краской, блестящей, словно отполированной. Я боялся на нее ступить: казалось, что на палубе нет и пылинки!

В первый день знакомиться с судном долго не пришлось.

Назвали камбузником – иди на камбуз. И драй котелки, сковороды, выковыривай глазки из картофелин, без конца подтирай кафельную палубу да терпеливо выслушивай наставления шеф-повара Михаила Станиславовича. Это был бледнолицый стройный и неторопливый мужчина лет тридцати с критичным, но миролюбивым взглядом глаз цвета штормовой морской волны. Кок не называл меня Володей, Вовой или Владимиром, нового камбузника он «окрестил» просто – Вольдемаром. А когда у нас на камбузе всё ладилось, обращался ко мне весело: Вольдемарчик!

– Запомни главное, Вольдемар! Не страшно, если на камбузе ты не успел подраить палубу, не бойся, если зажирели кастрюли, заржавели противни, высыпалась за борт уже почищенная картошка... Главное – должен быть очищен от накипи котёл для кипятка. В первую очередь! Как только старпом Телега появляется на камбузе – он сразу сует нос именно в этот кипятильник. И если не обнаруживает шероховатой накипи – больше ни на что не обращает внимания. Поработал камбузник наждачкой – значит все в порядке!

– Запомни главное, Вольдемар! Не страшно, если на камбузе ты не успел подраить палубу, не бойся, если зажирели кастрюли, заржавели противни, высыпалась за борт уже почищенная картошка... Главное – должен быть очищен от накипи котёл для кипятка. В первую очередь! Как только старпом Телега появляется на камбузе – он сразу сует нос именно в этот кипятильник. И если не обнаруживает шероховатой накипи – больше ни на что не обращает внимания. Поработал камбузник наждачкой – значит все в порядке!

Говорил Михаил Станиславович много. Но голосом негромким и ненавязчиво, скорее, немного привязчиво. При этом не только не прекращал нарезать картошку, капусту или морковь, но еще и перелистывал какую-нибудь солидную книгу по юриспруденции. Обычно раскрытый учебник устанавливался на специальной подставке на столе для разделки продуктов. Михаил Станиславович был студентом-заочником юридического факультета Ленинградского государственного университета. И учился не ради диплома, а ради самой учебы, ради процесса.

– Процесс, Вольдемарчик, – это главное, – говаривал он, указывая

в потолок кухонным ножом. – Как думаешь, что важнее, вкусная отбивная или процесс ее приготовления? Отвечу: слопать готовое блюдо может любой. А вот приготовить... Вкусно приготовить! Немногие посвящены в процесс приготовления. Не будет процесса, не будет и вкусной отбивной...

И в процессе подготовки к зачетам да экзаменам в университете он с удовольствием погружался в изучение политекономи, древнеримского права и занимался шинковкой капусты. Нож его постукивал быстро-быстро: ты-ты-ты-ты-ты-ты-тык! А страницы книги бесшумно перелистывались пинцетом, который лежал рядом с горкой нарезанной капусты. Так не заляпаешь источник знаний! Михаил Станиславович относился трепетно ко всем без исключения книгам.

НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРАДАНИЯ

Все бы ничего, не будь мы в море. Ведь там даже летом порой качает. Скажу так: кто говорит, что к качке привыкнуть нельзя, врет. Можно. Правда, получается это совсем не сразу. За год до «Артека» я проходил практику на паруснике, на баркентине, там при волнении так укачивался, что с трудом пробирался на нок своего рея при уборке парусов. На «Артек» у меня были большие (но неисполнившиеся!) надежды – он раз в пятнадцать больше водоизмещением, чем баркентина, на нем – и качка не страшна. Но...

О! Какие страдания приходят вместе с качкой!.. Правда, не ко всем. Но я не относился к числу таких счастливых. Морская болезнь, пожалуй, единственная хворь, при которой не освобождают от работы. И камбузник, как бы ни укачался, должен вдыхать все запахи да ароматы готовящейся пищи. «Нет, – думаешь в отчаянии, облокотившись о планширь, – только приходим в порт – бегу на берег. Какие там моря! Работают же люди на суше, не зная, как противен запах жарящихся котлет, как подкатывается ком к горлу при виде ладных пельмешек, как ненавистны тебе даже самые вкусные сосиски с самым мягким батоном!» Действительно, во время штиля все это ты слопашь с удовольствием, а при качке – глаза бы твои не видели, нос бы твой не ощущал ароматов!..

Но стоит волнению улечься – **все становится**

прекрасным: ты наслаждаешься ароматом жарящихся на плите котлет, драишь палубу и твердо веришь, «что будут ждать тебя пятьсот Америк...» Время от времени эта песенка звучала на волнах только появившейся тогда в эфире радиостанции «Маяк».

Работал я нельзя сказать, чтобы быстро. Можно даже сказать – медленно. Но едва вставал, в половине шестого утра, сразу мчался на камбуз и быстро-быстро драил мелкой наждачкой внутреннюю часть электрокипятильника (это был котел емкостью литров на пятьдесят!). Потом набирал в него пресную воду для чая и камбузных нужд, включал уже выдраенный кипятильник – и дальше уже работал не спеша.

Случалось, что Михаил Станиславович высказывал недовольство не только мной. Он никак не мог смириться с несправедливостью: при стоянке у причала штурмана, механики, матросы, мотористы, в отличие от кока, всегда, когда им нужно, оказываются на берегу, даже, если они на вахте, могут подмениться с коллегой.

После первого же моего рейса, по возвращении в родной порт, кок ненадолго изменил своему бледнолицему спокойствию.

– Вольдемар, ты слышишь радостный топот по трапу? Это побежали расслабляться свободные от вахты члены экипажа. А я, – сетовал Михаил Станиславович, – не могу. Дни напролет обитаю на судне. Исключение, видите ли, из аксиомы, гласящей, что незаменимых людей нет. Посмотри, Вольдемар, на меня – меня нет! Можно было бы гордиться своей исключительностью. Да пусть эта исключительность идет к свиным отбивным! Че-ло-ве-ком хочется побыть. Да-да, скорее всего, я не исключение. Просто я не человек. **Я – сверх...**

челове-чик! Сверх... кузнечик... Приговоренный к плите!

Я попытался успокоить Михаила Станиславовича. Пообещал быстрее освоить камбузное искусство и обязательно на время подменить его.

– Ну что ты, Вольдемарчик! Я не злодей, чтобы оставить тебя на растерзание людям, которые постоянно одержимы аппетитом. Ведь они, извини, слопают тебя и не заметят! Конечно, не буквально...

Но посмотри на них! Только встали мы к нефтепричалу, мореходы, видишь ли, – врассыпную: кто в ресторан, кто в пивбар, кто – самые скромные – в кинотеатр (врут, конечно)... Как порядочные люди... А наступает половина восьмого вечера – многие мчатся сломя голову на судно, чтобы, извини меня, Вольдемарчик, сожрать макароны по-флотски. Поужинать.

– Конечно, Михаил Станиславович, вы так вкусно готовите! – вставил я.

И не лицемерил: мне, когда не было качки, все было вкусно. Замечательные макароны получались у нашего кока! А их действительно надо уметь приготовить: в меру соли, масла, поджарить до нежной золотистости каждую макаронину... Вкусно!

– Вкусно-вкусно!.. – взмахнул рукой повар. – Но мне на берег тоже хочется! Я ведь блинчики с мясом люблю... А чтобы приготовить такие вкусные, какие подают в клайпедской блинной, надо очень постараться. Даже мне. И сыр я люблю. С пивом. С пивом из кувшина... Вот получу диплом юриста – медовым пряником больше не заманят меня к плите. Не-е-ет!

Михаил Станиславович приумолк и перевернул страницу толстенной книги. В большую миску тем временем радостно кувыркаясь летела нарезка для салата. Летела под шелест съездов, пленумов, пятилеток из учебника истории Коммунистической партии Советского Союза...

За дни «камбузарства» я перезнакомился со многими членами экипажа. И в первую очередь, конечно, с коллегами по пищеблоку: с дневальной Ириной, молодой пышной, румяной женщиной, которая подавала завтраки, обеды, вечерние чаи да ужины в кормовой надстройке для судовой команды, и с буфетчицей Раисой Гавриловой, белолицей женщиной лет сорока. Ей, худенькой и невысокой, приходилось ведра с супом да с пюре переносить по переходному мостику из камбуза в среднюю надстройку – в кают-компанию, где кормился командный состав. Это было особенно трудно во время качки. И я помогал буфетнице. Да что там, переносил обеды для комсостава и в спокойную погоду. А когда качало – тем более. Несмотря на свою хроническую морскую болезнь. Когда другому помогаешь, и свои беды преодолеваются легче.

Стоишь так у лобовой переборки кормовой надстройки лицом

к переходному мостику, ждешь, когда волна наберет самую силу и захлестнет его. А там – не зевай, только волна перескочила – быстро беги по мокрым доскам переходного с ведром супа к средней надстройке, пока следующий водяной вал не набрал силу. Не разлей! Не шлепнись! Береги суп! Судно тем временем беспристрастно раскачивается, а желудок тоскливо подвывает. Ненавидишь и этот суп, и это пюре, и эти нежно поджаренные макароны да котлетки! Но разве можно подвести Раису Гавриловну.

ЛЕКАРСТВО ОТ МОРСКОЙ БОЛЕЗНИ

Порты мелькали за портами. В какие разные страны ни приводили танкер «Артек» волны, всюду сами они почти одни и те же. В день, о котором хочу рассказать, море было особенно жестоким. Пять тысяч тонн мазута мы выгрузили в шведском городе Мальмё – и шли обратно в балласте – в Клайпеду через штормовое Балтийское море. Балласт – это забортная морская вода, набранная в грузовые танки для сохранения мореходных качеств судна.

Моряки «Артека» лидировали в социалистическом соревновании во всем Латвийском морском пароходстве. Им было присвоено звание экипажа коммунистического труда. А капитан – даже получил орден. Но на этом он останавливаться не собирался. Поэтому даже в крепкий шторм приказывал брать балласта самую малость. Ведь балластную воду с остатками мазута предстояло выгружать в специальные резервуары Клайпедской нефтегавани. А это – потеря времени, помеха перевыполнению плана. И, взяв балластной воды самый минимум, легонькое судно выплясывало на беспощадной волне – то подпрыгивая, то словно проваливаясь в пропасть.

Я, как всегда в таких случаях, испытывал все ужасы морской болезни. И словно уже не я ползал со шваброй вдоль переборок камбуза, не я равнодушно наблюдал за ерзавшими по плите и удерживаемыми специально устанавливаемыми «заборчиками», громадными котлами с супом и с компотом.

Да, это был почти не я. Камбузник Вольдемар являлся полуживым воплощением морской болезни.

Я даже не улыбался тому, как шеф неуклюже

гонялся по камбузу за скачущим учебником. Эта погоня напоминала что-то из «Мойдодыра»

Корнея Ивановича Чуковского. Михаил Станиславович Харлицкий носился между плитой, переборкой, столом для разделки продуктов да громадным электрокипятильником. Книга – тоже. Мой шеф то сердился, то вежливо просил извинения за грубое выражение, то опять отчаянно выражался. Мне оставалось взирать на все это с обреченностью и безразличием.

Время от времени я выкарабкивался в открытый коридор, чтобы в очередной раз «травануть», при этом ненадолго склонял голову к пляшущим волнам. Им до меня не удавалось достать, только подпрыгивавшие в высоту отважные брызги прохладно щекотали лицо камбузника.

Однако от морской болезни есть лекарство. Нет-нет, не таблетки, не микстуры, не соленые огурцы. Во время качки надо где-нибудь прилечь – нельзя сказать, что почувствуешь себя уютно, но «травить», по крайней мере, перестанешь...

Закончился обед, еле живое воплощение морской болезни помыло кухонную утварь, поводило строптивой шваброй по качающейся палубе, сделало еще что-то... Еще кое-что...

– Молодец, Вольдемарчик! – доносится до меня бодрый голос шефа. – Можешь часок отдохнуть. Но не забудь, что в пятнадцать ноль-ноль ты должен включить кипятильник для вечернего чая. Я приду на камбуз в пятнадцать двадцать пять!

И – только его и видели.

Я тем временем направляюсь в нашу с Васей каюту: спускаюсь по крутому трапу, плетусь по коридору, придерживаясь за переборки... Медленно-медленно думаю: «Прилягу на диван... В три часа встану...»

А вот и каюта. Нажимаю вниз дверную ручку – дверь распаивается сама, это в очередной раз волна кладет судно на левый борт. Не могу сделать шагу, надо идти «в гору». Через какое-то время дверь захлопывается – крен уже на правый борт, я успеваю заскочить в каюту.

Пытаюсь прийти в себя – а тут опять резкий крен на левый борт – я врезаюсь в диванчик, на котором пережидает качку Вася. Ну вот! Диван занят!.. Моя койка – верхняя... Она аккуратно заправлена. Белье на ней чистое. Не лезть же в такую коечку в замасленной камбузом робе! Раздеться на часок? Да сил нет!.. Никаки-и-их...

Плечусь обратно. Крепко держусь за поручни трапа, медленно переставляю со ступеньки на ступеньку одетые на босу ногу тяжелые «танки» – рабочую обувь курсанта...

Немало времени прошло, пока добрался я до столовой команды. Корма в этот момент делает полуспиральный виток, и я физически ощущаю переполняющую меня тоску. Она словно рвется на морские просторы. Из глубины живота стремительно вверх – и замирает где-то в середине горла, потом обратно вниз – почти до пяток. О-о-о! Прекратится ли это когда-нибудь?!

Бесцельно замираю, стараясь устоять, опираюсь на переборку. Тупо смотрю перед собой и не знаю, куда податься.

Неподалеку стоит журнальный столик с подшивками газет да журналов. Хорошо им всем – не укачиваются. Столик устроился почти у самой переборки, от которой его отделяет лишь узенький краскожий диван – на нем сидят моряки после вахты, перечитывают периодическую печать. Не в такой шторм, конечно... Сейчас в столовой команды – ни живой души. Здесь только я – душа полуживая...

Может быть, лечь на диван? Неудобно, а вдруг кто-нибудь войдет... Над диванчиком – свернутый экран. Его расправляют по вечерам, когда электрик Анисим Краснов, по общественному признанию судовой киномеханик, крутит фильмы.

Если этот киноэкран опустить, он будет как раз между диванчиком и столом. И пусть даже кто-нибудь зайдет в столовую, он подумает, что экран после вчерашней кинокартины не подняли или его штормом сдернуло вниз. А я, замаскированный, смогу за экраном поспать!

От ощущения своей изобретательности я – уже не воплощение морской болезни, а – становлюсь самим собой! Откуда ни возьмись силы появились. Перебежками добираюсь до экрана и дергаю его вниз! Экран опущен... Беру пару подшивок – «Комсомольской правды» и «Водного транспорта», – укладываю их вместо подушки, ложусь на спину – и растворяюсь в покое...

ПРОБУЖДЕНИЕ

Сколько я проспал таким образом? Много, слишком много. Не проснулся даже чтобы включить кипятильник! Но Михаил Станиславович потом и одним словом не упрекнул меня за это. Как же так? А дело вот в чем.

Просыпаюсь я на уютном диванчике. Качки как не бывало. Судно уже у причала, заканчивается швартовка. Слышу доносящиеся с кормы команды. У меня нет даже признаков недавних мучений. Я снова готов к выходу в море.

С полминуты ощущаю полное блаженство!..

Вдруг меня словно током пронизывает: «Кипятильник!» Но тут же понимаю, что думать о его включении поздно – вечерний чай уже закончился, так как слышен голос второго механика Бурлачука. Если он – за столом в столовой, значит, я проспал незамеченным полтора – не меньше! – часа. Второй механик сменяется с вахты в шестнадцать часов – и всегда идет пить чай не в кают-компанию, а сюда, на корму, ближе к машинному отделению, да и расслабиться в столовой команды проще. Народ здесь веселый и разговорчивый.

Но что там еще за звуки перебивают друг дружку?.. Да это дневальная Ирина и буфетчица Раиса Гавриловна – плачут! Вот еще – не хватало! Снова прислушиваюсь. Раиса Гавриловна приговаривает навзрыд:

– Хороший мальчик был... Помогал... мне ведра через... переходной мостик переноси-и-ить... А этот Ми... хаил его еще и ругал... И-и-изверг на...стоящий!

«О ком это она? – удивляюсь. И тут же понимаю. – Ой-ой! Это же обо мне!.. В про-шед-шем времени?!»

Дневальная Ирина ничего не говорит. То, что и она здесь, догадываюсь по ее безутешному рыданию. Второй механик Бурлачук сокрушенно вздыхает и приговаривает:

– Не мог этот повар пораньше прийти! Может, еще живым был бы пацан. А то явился шефуля, раскричался на все судно: «Кипятильник не включен!» Не включен, не включен – сам включи!

– Да он... включил, – вставляет Раиса Гавриловна. – И пошел к практи...кантам в каюту... отругать Вову... А там только Вася... Обыскал кок всю корму... Нет камбузника – нигде не найти... Пошел

Михаил к первому помощнику... Так, мол, и так... Облазили они вместе все судно... Нет Вовочки-и-и... Нет... Даже сухой трюм проверили, где растительные концы хранятся – может, там, в бухте манильского троса, заснул камбузник... Не нашли-и-и!

Второй механик Бурлачук добавляет:

– Да, говорят, первый помощник после этого уже ходил по судну, собирал подписи среди матросов, что те видели камбузника на борту, когда «Артек» отходил в море от причала в порту Мальмё. Вовка ведь всегда для морской практики выходил на швартовку потягать тросы. Опасается помполит, как бы не подумало пароходское начальство, что камбузник сбежал во время стоянки в капиталистическую Швецию. А так вроде все и в порядке: просто в море волной смыло неразумного мальчишку, – и Бурлачук неодобрительно хмыкает.

Я лежу на красноможем диванчике, краснею... Разговор за столом продолжается. Не знаю, что делать: и слушать о себе всякие похвалы неудобно – только о моих достоинствах вспоминают дневальная, буфетчица и второй механик – ведь об ушедших в мир иной или не говорят ничего, или говорят только хорошее; и встать вроде нельзя – могут подумать, что подслушивал. Да и лишать беседующих возможности сострадания нетактично. Человеку-то нужны и отрицательные эмоции. Представьте себе, вы переживаете, даже плачете, думаете: «Я теперь, после такого переживания, стану лучше. И повару больше не дам беззащитных камбузников обижать! Бедняга курсант! Затерялся в морской пучине! Вот горе родителям!.. Беда-то какая!» А тут этот камбузник как ни в чем не бывало поднимает киноэкран и, потягиваясь, встает с диванчика. Живой и здоровый. Ничего себе, в какое дурацкое положение ставит он своим «воскрешением» соболезнующих.

Так что же делать?.. Уж не утопиться ли в самом деле?! Нет, совсем не хочется топиться, ведь качки уже как не бывало, да и выспался я хорошо.

– Нет-нет! – категорично заявляет второй механик Бурлачук. – Больше не надейтесь увидеть нашего Вовку. Он сейчас даже на корму на швартовку не вышел. А ведь старательно проходил практику – учился-то на штурмана...

– Учился-не-доучился, – слышу наконец и прорывающийся сквозь рыдания голос дневальной Ирины, женщины большой и доброй.

Не в тон ей всхлипывает неутешная Раиса Гавриловна. Второй механик громко вздыхает.

Все трое искренни. А я, мерзавец, лежу, подслушиваю. Что же делать?!

И вдруг меня осеняет! Сначала тихо, а затем все громче и громче начинаю... похрапывать. Разговор за столом в столовой команды приутих. Прислушиваются... А я – уже совсем в роли:

– Хр-р-р-р-р! Хр-р-р-р-р-р-р...

Тут второй механик подбегает к журнальному столику, поднимает экран и не веря своим глазам, восторженно кричит:

– Вот он!

Я, словно артист, делаю вид, что только проснулся, разбуженный механиком. Бурлачук от души хохочет и мутузит меня. Никогда прежде ни от кого я не слышал такого радостного хохота. Тут же к нам подбегают и Ирина с Раисой Гавриловной. Они целуют меня, смеются и... продолжают плакать. Я стою, словно опять укаченный, стараясь удержаться на ногах, и ошарашено моргаю. Рядом вижу подпрыгивающую, чтобы меня еще и еще раз поцеловать, Раису Гавриловну, танцующую Ирину и широкую улыбку второго механика Бурлачука. Все-таки положительные эмоции людям доставлять намного приятнее, чем отрицательные.

И шеф-повара Михаила Станиславовича, и старпома я еще никогда такими радостными не видел. И никогда, наверное, не увижу. Они прибежали на оживленные возгласы. Бледный мой шеф широко улыбался, его зеленоватые глаза лучились... А еще я впервые увидел теплый и мягкий взгляд старшего помощника, и никакой он не Телега, а добрый Михаил Михайлович...

Много времени прошло с тех пор. Но такого со мной больше никогда не случалось, потому что, во-первых, примерно через два года после этой истории я привык к качке, а во-вторых, теперь я, когда сплю – всегда храплю. С удовольствием.

ПАВЕЛ ВАСКАН

НА БЕРЕГУ

Был великолепный солнечный летний день 1998-го года. Я уже защитил диплом, и, можно сказать, закончил свое обучение в университете, в счастливом предвкушении дожидаясь того момента, когда этот заветный документ выдадут мне в руки.

В тот день я прошел свое первое послеуниверситетское собеседование в одной из рижских фирм, набиравшей программистов. Мне сказали придти через пару часов – возможно, я им и подойду.

С замиранием сердца я отправился бродить по Старой Риге. Припекало. Остатки мелочи я истратил на кружку пива в одном из кафе под открытым небом рядом с древними стенами красного кирпича. И пока я медленно поглощал сей освежающий хмель, на память внезапно пришли Шведские Ворота. Кое-кто, помнится, шепнул мне, что желание, загаданное под ними, сбывается. Так я и сделал, покончив с пивом: подошел под свод Шведских Ворот в стене и пожелал, чтобы результат собеседования оказался положительным. Через час меня взяли на работу.

Помню, я, радостный, возвращался из конторы. Я ехал в общежитие, из которого через неделю – в честь окончания учебы – предстояло выписываться. Уже в холле «общаги на окраине» – как я в шутку звал это место, внезапно вспомнил про него... И позвонил.

В последние годы я чаще всего называл его Сенсей. Он меня – по-разному. Мы оба болели одной болезнью, имя которой – литературные трепыханья и потуги. Другое дело, что Сенсей уже лишь играл в эту болезнь, я все еще всерьез, признаться, побаливал.

Сенсею в последние лет десять было, зачастую, не до литературы и не до стихов, мастером которых он прослыл, подарив миру два-три десятка листов авангардного верлибра, местами оформленного как поток сознания. Он часто болел и много пил. Его стихи были чем-то вроде необсуждаемого эталона. Да и о стихах-то мы мало говорили при встречах, скорее, стихи были внутри нас, нами, и мы сами становились стихами, сотканными из движений, слов и поступков. А сам Учитель был для меня чем-то вроде символа, фигуры, а зачастую – даже чем-то вроде футбольного мяча из фильма «Изгой». (Был такой фильм. Его герой, попав на необитаемый остров, находит футбольный

мяч и начинает вести с ним беседы, как с реальной личностью.)

И тем не менее, не буду принижать его роль: когда Наставник был трезв, он, все-таки, давал мне что-то важное.

Когда я позвонил, он был страшно рад. И неудивительно: ведь я, вредина, около года не звонил ему, не навещал его и не общался, дав слово матери сначала написать и защитить диплом.

Я позвонил и через час приехал к нему. Много изменилось с тех пор. Главной новостью Сенсея был его недавнорожденный сын, которого он держал на руках, встречая меня. Он сказал, что сегодня (а была пятница, и завтра начинались выходные) мы с ним вдвоем едем к морю, в Звейниекциемс, будем ночевать не то в сарае, не то в лачуге, не то в бане. Выпьем алкоголя, закусим рыбой.

Мы сели в электричку, как были: я – в костюме, рубашке с галстуком, как шел с собеседования, он – в свитере, со слегка растрепанными волосами. До Звейниекциемса мы добрались уже вечером. Сенсей купил дешевый алкоголь, немного хлеба и рыбы. Потом его знакомый звейниекциемский рыбак и крестьянин предоставил нам баню для ночлега. А пить пошли на берег.

Мы сидели на пляжном песке. Выпивка и закуска стояла на чем-то постеленном между нами. Мы почти не смотрели друг на друга. Мы оба глядели в море, на линию горизонта. Туда, где медленно начинался закат.

Мы говорили как о сиюминутном, так и о вечном. Темы плавно перетекали одна в другую. Внезапно, начав играть опытного следователя, Сенсей вдруг поинтересовался, а правда ли то, что моя студенческая возлюбленная однажды, как я ему проговорился, попросила в момент легкого помрачения рассудка у меня после бессонницы, убить его. Я, так же наигранно, удивился, почему его волнует этот пустяк. На что в ответ получил эскападу о том, что, де, от таких дикарей, как я, всего можно было ожидать, вплоть до того, что я бы принес на следующий день его голову, завернутую в платочек, к ногам прекрасной дамы. Я аж зацокал, насколько высоко Благородный Учитель оценил мой воинский талант и степень моей самоотверженности, сиречь болезни. Мы долго хохотали на эту тему, сидя там, на берегу. Одни. Поздно вечером. Перед почти

догоревшим закатом. Но время от времени он становился серьезным и восклицал: «А вдруг? А ведь у меня сегодня есть все шансы не проснуться!». Прения эти я, помнится, решив не поддаваться на намеки, закончил фразой: «Вот и проверишь!»

Наутро мы, фаталисты, оба успешно проснулись в бане, слегка помятые. И, совершив недолгий ритуал пробуждения, как и легко позавтракав остатками вчерашней закуски, засобирались на электричку. По поводу своего брэнного присутствия по-прежнему на этом свете, без всяких попыток на убиение, Учитель воскликнул: «Вот ведь! И вправду! А я уж наде... то есть – сомневался!..»

Довершением ритуала прощания с крестьянским хозяйством и баней, была выдача хозяином бани Сенсейю небольшого военного кителя или полушинели (точно уже не помню) с нашивками (или погонами) с буквами «ВВ», то есть «внутренние войска». Учитель, помнится, попросил какую-то одежду накинуть в дорогу, и в ответ на просьбу получил оное. Вот в таком колоритном виде мы и двинулись к электричке. Я – слегка помятый – в костюме и рубашке с галстуком и слегка растрепанный, Сенсей – в форме Внутренних Войск СССР.

В Риге мы оказались уже к обеду...

Я часто вспоминаю этот эпизод из моей жизни и этот импровизированный пикник на закатном морском берегу. Такое ощущение, что мы всё еще там – сидим, балагурим.

В этом мире Сенсея не стало восемь лет спустя. В нашем с ним мире мы, похоже, с того берега всё еще не уходили...

«ОБРЫВКИ СНОВ»

Маргарита спит перед рассветом...

Она мерцает как жемчужина
на белом бархате постели.
И сон ее скрывает кружево
слоев воздушной акварели.

В игре ночного света с тенью
я вижу отраженье драмы
на нескончаемую тему
безумной и наивной дамы,

играемой вчера, сегодня:
умение умерить норов
и переплавить в жаре полдня
обрывки снов, осколки споров.

А завтра снова с ней не сладишь,
и прозвучат ее упреки
как чистый ряд мажорных клавиш
в моей минорной поволоке.

Что принесет мне полнолуние:
переживая гибель хора,
оплакивать ее безумие
среди якобинского террора.

А там, бесстыдно и жестоко
положит серенькое утро
багровый цвет кровоподтеков
на черном фоне перламутра.

Невольник замыслов, поверьте,
я отдал бы без колебаний
за все мучительные смерти
два-три глотка моих рыданий.

Но в кружке эля горечь смерти,
и гибель спит в глотке кагора,
и скрытая в холсте рассвета,
она уже проснется скоро.

Предутренный эфир так тонок,
окно виденьем приоткрыто,
И дремлет шелковый котенок
у ног прощенной Маргариты.

* * *

В часы, когда с неба летят световые куски,
Писцы заполняют пространствами смыслов страницы,
Но им не избыть неизбывную сладость тоски,
Покуда на север летят одуревшие птицы.

Лекарства от скуки всё кланчат больные мозги,
Но вместо конфетки – сухарик из пресного теста.
Здесь, в истинных сумерках, глаз не увидит ни зги,
Теряясь в циклических ссылках священного текста.

Я плавлюсь, как плавится пленное пламя свечи,
Люмены лучей умирают в обугленной нити.
Кому и о чем рассказать ей в крошечной ночи?
Темница души не вмещает телесных наитий.

Но всходит кровавая дважды над морем заря,
И чуждую мудрость не в силах прочесть ученицы
Наощупь холодных кленовых листов октября,
Беспорным решеньем которых синеют ресницы.

Салфетка-бабочка

Салфетка-бабочка, струящийся поток
в полуслепом предутреннем полете
раскроется как огненный цветок,
забыв на миг о невесомой плоти.

Комок тончайший, не сходи с ума,
Спит в янтаре сестра твоя живица,
Что пудра, что румяна, что сурьма –
Цветов пыльца на зеркальце ложится.

Не оборачивайся – за твоей спиной
от чашек чайных и от кружек в пене
закружит в невесомости земной
салфетка словно девочка на сцене.

Она трепещет в танце крыльев-рук
И в воздухе парит в двойном полете,
Очерчивает запоздалый круг
И замирает, позабыв о плоти.

Но этого не будет с ней, пока
всё тянется порыв ее служенья
на ласточкиных крыльях сквозняка
и бегство от земного притяженья...

* * *

усилие возникло и ушло
в воздушную волну, в провал над бездной.
но голуби ложатся на крыло,
служители рассылки поднебесной.
иные с голубятам и звонниц,
иные с башен и с полей сражений –
с небес стремятся в плотный воздух,
вниз,
неся на лапках строки утешений.

ИЗ ЦИКЛА «Красное, зеленое: ТЮЛЬПАН»

ЖЕТОНЫ ДЛЯ МАЛЬВИНЫ

Я отправился в гости к этой девушке без предварительного звонка.

Я бы позвонил, конечно, но девушка не имела домашнего телефона. Мобильного телефона она тоже не имела, ни у кого из нас в то время не было мобильных телефонов, потому что год шел 93-ий. А познакомился я с этой девушкой в 91-ом, когда ей было пятнадцать лет, на ускоренных курсах английского. «Английский за две недели!» – в начале 90-х многие из нас верили в подобные чудеса.

Девушка, как оказалось, жила в соседнем квартале. Она проявила ко мне определенный интерес и даже поцапалась из-за меня с такой же англоманкой. Я случайно стал свидетелем драматической сцены: школьницы меня делили, выставив когти и распустив хвосты. Мне шел двадцать первый год, и я подумал, что не стоит мне связываться ни с той, ни с другой. Нет, не статья в уголовном кодексе остановила меня, просто я решил, что им обоим еще надо подрасти. Дозреть так, сказать. «Обе хороши, – щурился я, оценивая их юные красоты, – но не в цвету».

И я в то время увлекся некой Дамой. Этой женщине было всего лишь двадцать пять лет, но мне она казалась именно Дамой – с большой буквы. Она уже успела родить мальчика и девочку, и получить негативный опыт семейной жизни, сбегав пару раз замуж. Она успешно руководила в нашем районном супермаркете отделом замороженной рыбы, и ей больше не хотелось никаких мужей, ее интересовали только секс и карьера.

Разница в возрасте всего-то несколько лет, какая, вроде бы, чепуха! Но по сравнению с этой Дамой я был еще совсем зеленым и сопливым. И, конечно, эта хищница не оставила мне ни малейшего шанса. Я на счет «раз-два-три!!!» очутился в ее широкой, пружинистой кровати – это было неизбежно.

*

А тем временем девушка незаметно подросла, и, здороваясь с ней, я каждый раз думал: «Оп-па, ну и Мальвина!» Девушка, кстати, увлекалась стрельбой из спортивного пистолета. Но к сюжету эта подробность отношения не имеет – пистолет не выстрелит.

Постоянного парня Мальвина не имела. Появлялись, время от времени, какие-то нелепые, взволнованные, кривоватые в плечах ухажеры, но было заметно, что ей с ними скучно. Однажды, встретив ее у киоска, я сказал шутливо:

– Заходила бы, что ли, в гости, соседка!

Она ответила:

– Сам, что ли, заходи, сосед!

– Когда?

– Когда в голову стукнет.

– А как тебя предупредить?

– Никак. У нас дома нет телефона.

– Так, может, на днях?

– Заходи, может, на днях.

Отправившись в гости следующим же вечером, я угодил под дождь. Слегка промок. У самого подъезда встал под стекающую с крыши струю воды, чтобы промокнуть еще сильнее. Мне казалось, что это добавит моему образу романтичности.

Позвонил в дверь, услышал, как по длинному коридору кто-то шлепает в жестких тапках. Открыла сама Мальвина, на ней были шорты и спортивная майка. Лифчика под майкой не было. Я откашлялся и протянул Мальвине пакет с пирожными.

– Ты что, нырял в лужу? – спросила она, оглядев меня с ног до головы, и впустила в дом.

Мы прошли на кухню, где Мальвина познакомила меня со своей мамой, худощавой женщиной, которая с трагическим выражением лица рубила капусту. Мама настояла, чтобы я зашел в ванную и снял с себя мокрую одежду.

– Чистого халата у меня нет, я дам вам простыню! Ничего?

– Нормально! – согласился я.

– Вам надо выпить крепкого горячего чая и обязательно с сахаром! – сказала мама, когда я вернулся на кухню, завернутый в белую простыню. – Обязательно с сахаром, тогда вы быстрее согреетесь...

– Конечно! – согласился я.

Мы попили чаю, съели пирожные, и Мальвина предложила:
– Ну, пошли ко мне!

И, завернутый в простыню, как в тогу, я с достоинством прошествовал вслед за девушкой в ее комнату.

Мы присели на диванчик. На диванчике валялось несколько плюшевых игрушек, а также книжка «Мадам Бовари», заложенная глянцевой открыткой посередине.

– Как тебе? – кивнул я в сторону «Мадам Бовари».

– Ничего... интересно! – ответила Мальвина и ущипнула плюшевого поросенка за пяточок.

Мне не давали покоя ее соски, просвечивающие сквозь майку, и я старался смотреть во время разговора с девушкой только на ее лицо.

– Как успехи в спорте? – Спросил я взволнованно.

– Я кандидат в мастера. – Ответила Мальвина спокойно

– Ого! Ты попадешь в бутылку с двадцати метров?

– С двадцати метров я попаду даже в пуговицу!

Так мы и беседовали минут двадцать. Наконец, я решился и приобнял девушку за плечи.

– Ма!!! – сказала она очень громко, почти крикнула.

Я тут же отдернул руку.

– Чо? – донеслось из кухни.

– Ты программку купила?

– Не!!!

На этом переключка завершилась. Больше я рук к Мальвине не протягивал.

– Дождь кончился... – сказала девушка, посмотрев в окно. Но по ее тону нельзя было определить, каков подтекст: «Тебе пора сваливать!» или «Пойдем, погуляем!»

– Пойдем, погуляем! – предложил я.

– Не-а... Времени нет...

– Тогда я пойду?

– Ну, давай!

– Мы еще встретимся?

– Конечно.

– Как бы нам связаться? Жалко, что у вас в квартире нет телефона!

– Ну, что ж поделывать... – девушка пожала плечами.

– Я куплю тебе жетончики... Ты сама сможешь позвонить мне из телефонной будки.

Девушка не ответила. Мы вышли из комнаты. Ее мама вернула мне джинсы и рубашку:

– Еще не высохли!

– Ничего, на мне высохнут.

Я зашел в ванную, натянул на себя полусырую одежду и, попрощавшись, вышел под жаркое солнце.

*

Вскоре я купил полную горсть телефонных жетончиков, насыпал их в целлофановый пакет, положил туда бумажку с номером своего домашнего телефона и пошел к Мальвине домой. Дверь открыл взъерошенный мужчина с опухшей физиономией и пробурчал, что Мальвины нет дома. Я догадался, что это ее папа, страдающий, очевидно, с похмелья, протянул ему пакет с жетонами и попросил передать их Мальвине. Мужчина удивился, но пакет взял и, бормотнув что-то невнятное, захлопнул дверь.

Но Мальвина мне так и не позвонила. Встретив ее как-то на улице, я спросил, почему? Мальвина вместо ответа сообщила, что я очень озадачил ее папу:

– «Пришел, – говорит, – какой-то незнакомый парень и подарил мне кучу жетонов!.. С чего бы это?» Мы с мамой долго смеялись... Тебе, кстати, от папы большое спасибо, он до сих пор еще не все жетоны истратил!

Наверное, выражение моего лица было ужасным, и Мальвина смягчилась:

– Ты вообще-то хороший парень! Да...

– И все?

– Для меня – все...

Возникла тяжелая продолжительная пауза. Ее прервала Мальвина вопросом:

– А чего ты тогда тормозил-то?

– Когда?

– Когда мы с тобой только-только познакомились... на курсах этих.

– Ну... Ты же вроде... как бы это сказать... Ты ведь еще слишком

маленькой была... для меня...

– Ну, вот... Тогда – маленькая, а теперь – большая.

И, вильнув своей круглой расчудесной попой, Мальвина удалилась прочь.

МОСКВА БЪЕТ С НОСКА

Уже на закате своей тревожной юности я поехал поступать во ВГИК – на режиссерский факультет. Я решил выбрать эту профессию, потому что 1) в мире кинематографа довольно высокая концентрация красивых женщин и 2) режиссеры, пользуясь служебным положением, могут соблазнять хорошеньких актрис аж до пенсии.

Отправил в институт свои творческие работы. Приемная комиссия с ними ознакомилась и вызвала меня на экзамены.

У входа в институт сидел вахтер и сооружал себе на закуску многослойный бутерброд размером с силикатный кирпич. Вахтер был сосредоточен и вдохновенен, как скульптор. Я попросился внутрь.

– А зачем?.. – высунув в творческом экстазе язык, вахтер аккуратно уложил между кусочками сыра и колбасы ломтик маринованного, остро пахнущего огурца.

– Поступать приехал...

Вахтер отложил в сторону свой шедевр и сделал ехидное выражение лица:

– А вот и не поступите!.. Вы хоть представляете, какой у нас конкурс?! – его лицо вмиг стало серьезным и суровым.

– Примерно представляю... Но зайти-то можно?

– Можно-можно! Заходите, чего уж там... Но все равно... не поступите!!! – И, довольный, он рассмеялся мне вслед.

Очутившись в здании, я понял, что сделал правильный выбор. По коридорам бродили красавицы на любой вкус: маленькие, рослые, полные, худые, брюнетки, блондинки, мулатки, азиатки... Большинство из них, я знал, приезжие, а значит, поступив, будут жить в общежитии – без родительского надзора.

Перед экзаменами проводились консультации. Режиссер, набиравший курс, рассказывал о требованиях к абитуриентам. Внезапно он остановился и произнес: «А вот, например, наша

выпускница Рената Литвинова, которая сидит вон там, на заднем ряду...» И мы, триста человек, одновременно развернулись на 180 градусов и вылупились на Ренату Литвинову, которая, действительно, зачем-то явилась на консультацию и сидела на «галерке». Кинодива смутилась...

Мэтр продолжил «бла-бла-бла» о киноискусстве и нашем, возможно, месте в нем. Минут через десять он опять воскликнул: «А вот, например, наша выпускница – Рената Литвинова, которая, как я уже говорил, сидит вон там, на заднем ряду...» И опять триста человек, как по команде, развернулись на 180 градусов и посмотрели на Ренату Литвинову вторично. Кинодива занервничала...

Тогда я понял, что режиссер, это человек, который в любой ситуации способен всеми «рулить». Мало того, что он нашу толпу заставил вертеться туда-сюда, так он еще и со звезды Литвиновой моментально сорвал маску победительницы, показав, что, на самом деле, она – робкое, застенчивое и незащитное существо.

На первом туре следовало выполнять актерские этюды. Я зажался, делал все очень плохо, без куража, без фантазии, и председатель комиссии меня остановил:

– Хватит! Давайте, поговорим... Мы читали вашу автобиографию, это интересно! Простой рабочий паренек вдруг потянулся к творчеству... Ну, вы просто Джек Лондон, какой-то!

Мне стало страшно, я чувствовал себя «тормозом». Думал, что все – можно покупать билеты домой! И от отчаянья стал наглее. А председатель продолжал:

– Ваша биография – это же прекрасная основа для киносценария! Не так ли?

– Да! – отвечаю. – Могу продать...

Члены комиссии переглянулись. Кто-то хихикнул.

– Мда-с... председатель растерялся от моего нахальства. – Ну... а кто, на ваш взгляд, самый интересный писатель современности?

– Я... – ответил я, потупив взор.

Экзаменаторы расхохотались. Председатель замахал на меня руками:

– Все, вы свободны! Идите, идите...

Я был изумлен, когда узнал свою оценку: «отлично». Из трехсот абитуриентов такой балл получили только десять человек! А на втором туре мы писали короткий сценарий. И я был заранее уверен, что получу за него оценку не ниже, чем «хорошо». Расслабился... Понял, что уже практически поступил. И пошел гулять по вечерней Москве со своей новой знакомой – с девочкой из российской глубинки, которая поступала на актерский. Ох, уж эти провинциальные русские девочки – они просто чудо! В их честь московские власти обязаны установить памятник. Надо, чтобы Церетели увековечил ее – Провинциальную-Девочку-Приехавшую-Покорять-Столицу. Чемодан в руке, коса до попы...

Я говорил девочке:

– Сделаю тебя кинозвездой! Ты будешь моей любимой актрисой! Как Моника Витти у Антониони...

Девочка жевала биг-мак и согласно кивала. Ей моя идея нравилась... Мы обошли за ночь, наверное, весь центр. Дремучие парки с фонтанами, ярко освещенные бульвары и проспекты с шедеврами сталинской архитектуры. Мосты через Яузу и набережные, по которым до утра фланирует беспечная публика.

А днем я узнал, что получил за сценарий «2». Судьба щелкнула меня по носу – не зазнавайся! Девочка мне посочувствовала, но никаких иллюзий насчет наших дальнейших отношений я не питал. Ибо она стремилась в мир «сладких грез», где обитают полубоги, а я оставался среди обычных людей.

Прошло более пятнадцати лет, и вот однажды я увидел ее на экране. Она исполняла главную роль в одном из модных российских фильмов. Но в каком – не скажу.

ИГОРЬ ТРОХАЧЕВСКИЙ

Из цикла «ЧИСТОЧКИ»

Начало

Микробы – они повсюду... Они такие... Говорят, без них – никуда... Полная стерильность – жопа говорят... Как и на 100 процентов душевное здоровье... Без микробов там и тараканов среди серого, внутри черепушки, вещества – человек в зомби превращается, в робота – без нормального страха и здорового упрека... В говорящее мясо...

Так что – не шугаюсь я микробов... Тем более, свежие данные научной разведки, они полезны... Дело не в паразитах... Дело в моих руках... Они только и знают, что хватаются за всякую дрянь... За крышку унитаза... Много чего... Деньги, перила лестниц, дверные ручки, поручни в транспорте... Столько отрицаловки передается... Хрен знает – сколько зараженных, негативом как ружья заряжены, рук хваталось за те же ручки, деньги и перила...

Вот, говорят, пришел домой с улицы... Обязательно сполосни лицо... Косые взгляды – прямыми и точечными стрелами... Да и краешком дурного глаза тебя зацепили – и ты сглазился и попал... Не на Ти Ви, а в кромешную задницу... Но тут все просто... Ополаскиваешь лицо водой – и ты свободен, ты здоров... И никакого сглазу...

*

Он маленький – такой смешной был... Слово придумал – ЧистОчки... Это руки чистые называл так... Заходил в туалет... Стоя над открытым унитазом, приспускал штаны... Стручок – на край треников... Я и левая, не трогая стручок, за штаны... Долго он так ходил по-маленькому... Пока не прицепилась тетка... С упитанными такими, довольными собой лапищами...

Гостил он у тетки... Мама – в Крым, папаша – в дым, пьяный... Он и маялся у тетки... Помню, я, под робота, механически залезла в коробку с конфетами – у кровати... ЗаграниШные, в круглой, разукрашенной на тему – гусарских сердечных побед – банке... Залезала я так, залезала – наощупь и слепо... Пока не осталось меньше половины сладкого счастья... Тетка так его плебейское и пролетарское

происхождение прошупывала... И когда забирала проверочную банку – ничего не сказала, ничего... А он, дурачок, потом плакал... Тетя ничего не сказала – как обозвала и обидела... И, наверное, внутри проворачивал – как бы меня, воришку, отсечь-отрезать... Он то ни при чем... Все я – загребущая...

Так вот... Когда он выскочил... А чего там задерживаться... Из сортира... У дверей, прямо на выходе, ожидала мучительница... На груди скрещены удобные и комфортные – левая и правая... – Почему руки не помыл?.. Я воды не слышала, – грозная такая... А маленький чудак... – Так я за него и не держался... – Все равно помыть... И с мылом...

*

Со смыслом, со-с-мылом... Те наставления и дали уродливые и неврастеничные плоды... Теперь он скребет руки с бешенством и с мылом – детским, хозяйственным... Да еще, бывает, намылит мочалку... И – с мочалкой... Лучше уж веревку... Скоро-скоро совсем сотрет всю хиромантию на моей ладони... Магистральные линии, судьбы и жизни, да и второсортные смоятся начисто...

Псих

Что-то правая перестает слушаться вовсе... Я пытаюсь намылить – как следует и "щательно" ладонь, а она зажимается, в кулак... А на днях вовсе оборзела – и выдала "факира" из вытянутого вверх среднего пальца... Только-только я направился в умывалку...

Я врачу рассказал все... Какому врачу?.. Хирургу – какому... Правая рука, говорю, выделяет не правые, грубо говоря – левые фокусы... "Садюка" с дипломом отшил к другому доХтуру... Другой – не осмотрел даже руку эту болезную... Одни, без царя, без цельного зерна – вопросы, праздные и карнавальные... – Вы кефир и квас приравнили бы к алкоголю?.. А по поводу, того-этого, вот, как считаете-мыслите – американцы почему пикников на луне не закатывают?.. И – заранее извините за интимного плана вопрос... Маяковский Вэ Вэ – часом – не ваш любимый поэт?..

– За психа выставляете?!.. Как заору... – Да психи Щас – у власти, у корыта... Мозги компостируют жертвам Ти Ви и новостных порталов... Как в былые времена – билеты на трамвай... – Не расходуите вхолостую

душевные силы, – успокаивает... – Маяковский перед самоотводом тоже – по часу – руки под водой мучил, ломая раздраженно краны и прочую сантехнику... Он бы сам застрелился из "браунига" родного, а не из чужого, непонятного "нагана"... Сдается мне – рука его самовольно потянулась к револьверу не той системы... Идите лучше куда-нибудь, с глаз подальше... В интересах профилактики... В сторожа тихушные... В будку!.. И не высовывайтесь... Приносите пользу, нажимая кнопку и открывая-закрывая шлагбаум... Въезд-выезд машин из фирмы... Займите чем-нибудь интересным руки... Дайте им пожить полноценно... Китайская гимнастика – в самый корень... Воздушные пассы, запойное воздухоплавание – без отрыва от земли... Все конечности, все части тела – держать под контролем... Мало ли что им взбредет в нервы и сухожилия – самостийным... И клептоманом, и Фрэди Крюгером, и обладателем титула – "мистер – лучшая задница нашего маленького городка» – заделаться легко и просто...

*

Нет, я убью его когда-нибудь... Чертова стерильность... Водные экзекуции... Уже – во-о где!.. Дурачина этот переживает насчет перерасхода... Так влетает в копейку и в сантимчик!.. И все равно продолжает скрести меня и левую – как очумелый Мойдодыр...

С левой – в полный контакт мы вступаем редко... В театре каком-нибудь, когда он аплодирует – этим, что кривляются на сцене... Руки у них – все левые и смешные... Другое дело – у глухонемых... Даже, если они у них без движения и молчат... Все равно – не висят и не болтаются как никчемные плети... Грация и харизма – вот они...

Я почему – левую – не особо... Аристократка из нее... Основной груз – на мне... Если бы наш голова родился левшой... Вот бы я пожила, понежилась, в дурочку поиграла...

Долго продолжаться не могла водная эта петрушка... Никакие "психи" с медовыми врач. дипломами – не советчики... Шокировать бы его чем... Напугать, болью оглушить... Что угодно... Чтобы уяснил и зарубил... Жизнь – не поле, не помойка и не лесная чаша, чаЩа, а пять минут, три-четыре момента – кадра, выстрел... Пропадать часами над белизной умывалки – это очень далеко не мое...

Дурачина повелся на психушный совет... Вечно хотел он от людей – куда подальше... Лесником – в тайгу... В монастырь... Желательно – на луне и без приставучих монахов... Ну зачем так шутаться людского

моря, из которого возьмет да и объявится личность интересная... Нет, у него – комплексы... У него к людям – претензии и опаска... Школа, армия... Сто тридцать, смешно, навскидку, пиздюлин увесистых в армии... В школе – там вообще... Так, детский огород... С десяток подзатыльников... Да на слуховом уровне – подколки... Ну не сбегать же из-за ерунды, из-за примерной двадцатки попавшихся на пути уебков... В тундру, тайгу, джунгли с пустынями и монастырями...

В одном сходилась с ним... Не люблю потные, липкие, сухие, шершавые – чужие ладони... Пожимать их, вступая в плотную телесную связь... Как-нибудь приласкаю-поглажу его непроизволом по волосам – за разборчивый подход... Если пожимать, то проверенные избранные руки...

Я уже говорила, что злюсь на левую... Но, чисто говоря, злилась раньше... Просто стыдно признаться, отчего злючное отношение изменилось на радушное... Сейчас я сама иногда пожимаю, побратски, левую... Со стороны выглядит... Чудачный чел с нехилым прибабахом изображает монаха-католика... Сложенные, сцепленные замком ладони – на уровне грудной и сердечной клетки...

Три литра

Чембольше "заиклона" наэкономии, тембольше тратится... Столько в месяц кубов этой самой воды и мыла... Как прикинешь, что быстро и зашкаливает... Так, ну и ладно, ну и редька с ним, что хрена не слаще... И с еще лучшей остервенелостью себя намыливаешь... Правда, что-то начинает глючить правая... Из подчинения выходит почастьому... Не подставляется под воду, за спину спрятаться-завернуться – не дура... Не дура, но падла... Хотя...

Тут, на днях, расплескался... Капли воды из под крана – на губы... И в рот – пара капель... А до этого – сушняк... Я пью жидкости помизеру... На питье воды обыкновенной, как там сказать, слабая, но стабильная аллергия... Перепил я в свое время воды...

*

Он тогда совсем доходягой стал... За две недели учебки... Бросили его долбить цементный пол в старую баню... Ремонт по-армейски... Фигачит ломиком, а эффектуса – по нулям... Он заболел еще...

Температура – сороковник... Помню – наглуую самовлюбленную

ладонь сержанта... Как он дотронулся до лба моего дурака... Перед тем – как дотронуться – плюнул на пальцы... – Не шипит... Здоровый значитЦа... Лыбился...

После четырех часов дровичола, ломиком по цементу, пробило на питье... Он – к обложенной со всех сторон новобранцами колонке... Качаешь, качаешь – и ждешь струю живительную... Он – без очереди... Я потянулась без очереди и спросила к пробивной хрустальной струе... Набрать бы немножко в ладошку – и поднести без потерь ко рту... Тучная Правая кавказца, Основного, отвела меня в сторону... – Ты чего, без очереди?... – Мужики, парни, не могу... Очень пить хочу... – Хорошо... Добрый-добрый Основной, кавказец... – Вот тебе – банка, три литра входит... Наполняй полную... И всю выпивай сразу... Не выпьешь – получаешь пиздюлей... Согласен?... Я, онемевшая из-за тупого трудилова, тормознуто потянулась за банкой... – Согласен... Вместе с левой мы минут пять держали эту издевательскую стеклотару... Два литра он выпил в момент... Остальное пошло тяжело... Основной, кавказец – удивление в сапогах... – Ты – мужик!..

А следующий день – построение... Армейский плац заливает и поливает пулеметным огнем – сухое уральское солнышко... Смена климата резвая... Он – и хлобысь в обморок... – Воды ему, воды!.. Командир безликий кричит... Сподручный рядовой – мигом, через пять военных секунд – со вчерашней емкостью... Очнулся... Я, усталая, махнула... – Отвалите... А он шепотом... – Не хочу я пить, не хочу...

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА

Имант Аузинь*

* * *

Стустила зелень, отцвела, отгремела грозами еще одна весна, и вместе с нею навеки ушла ЛЮДМИЛА АЗАРОВА (11. 04. 1935 – 22. 05. 2012), талантливая русская поэтесса и выдающаяся переводчица нашей поэзии. Самая латышская русская поэтесса. И, может быть, самая рижская рижанка среди поэтов второй половины века. Хорошо известная как русским, так и латышским читателям: стихи Людмилы рано стали нам близки благодаря созвучным переводам Ояра Вацietиса и Мариса Чаклайса.

Настоящие поэты наделены способностью кое-что, иной раз – даже многое – предвидеть. Может быть, и свою судьбу. Во всяком случае в сборниках Людмилы не раз заметим видение этой недавней грозовой ночи:

*И отступаюсь
во тьме на корневищах
санскрита и латыни
и слышу эхо – дивные слова:
огонь, ignis, ugnis, ugnis, агни...
И понимаю их без перевода.*

*Жду молнию
на голову свою.*

И вот оно, случилось. «Но поразительно – вот жизнь прошла и что же? \ Всё связано и крепко. \ Совпадают \ сплетения магнитных жил и сухожилий, \ и вспыхивает линия судьбы. / И насмерть поражают роковые числа».

За свою зоркость Людмила в особенности была благодарна другу жизни, единомышленнику, разделявшему с ней судьбу Ояру; по крайней мере я только так прочитываю эти строки:

*Вижу близко и далеко, вижу каждую черточку,
точку и тонкий росчерк отточенного пера,
наблюдаю зрением боковым,
будто сова кручу головою на два оборота,
вижу ночью и в сумерках.
Сам меня научил.*



Можно лишь еще раз выразить удивление, что труды вот уже нескольких поколений поэтов, и Людмилы в том числе, не собраны по крайней мере в достаточно представительные книги избранных произведений, не исследуются, недоступны читателям. То же относится и к поэтическим переводам. Ибо это поэзия непреходящего значения: экологии жизни; поэзия, которая разрастается в защиту человека, природы, культуры, в конечном счете – народов и языков.

Не удивляет то, что послевоенным дебютантам в литературе приходилось преодолевать порожденные и оставленные диктатурами горы мусора, обломков, заносов, прокладывать дорогу в зарослях новой

полуправды; удивляет то, что преодоление, прорыв произошли в столь краткие сроки, хотя продолжались на протяжении всего творческого века. Разве это не нужно делать и теперь? Всем? Среди первых во второй половине 20 века навсегда останутся имена Людмилы и Ояра.

Увлеченно работая над поэтическими переводами, Людмила совместно с другими переводчиками и поэтами создали то, что мы называли рижской школой перевода; ее основной признак – более глубокое знание латышского языка, более тонкое чувство контекстов исторических, культурных, современной жизни. Вместе с крупными поэтами России и других стран представители рижской школы совершили еще до сей поры несвершенное, а именно: создали серьезную библиотеку латышской классики и современной поэзии, способствуя открытию для нашей поэзии по возможности более дальнего пути и на других языках в огромном культурном пространстве.

В последний год наша совместная работа чаще всего была связана с международной конференцией «Ояр Вацietис и его время в латышской литературе», которая пройдет нынешней осенью. Людмила считала, что это последняя возможность рассматривать труд Ояра вкупе с работой его поколения, ибо поэты этого поколения неизбежно уходят. Теперь об этом придется говорить другим, думая и о Людмиле.

Мне кажется, сейчас тот момент, когда дом-музей Ояра Вацietиса может преобразоваться в мемориальный музей Ояра Вацietиса и Людмилы Азаровой. В источник и центр творчества, чем и был этот дом на протяжении всей их совместной жизни – и остается теперь.

Рига, май 2012 года

* С латышского (“Latvju Teksti”. 2012, № 8. Перевод И.Ц.).

ЛЮДМИЛА АЗАРОВА

СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ

(из книги «Остров», 1985)

Городские часы

Пустынная улица.
Сторожиха
в семи полущубках
дымится, как медный вулкан.
А навстречу
светлые странные
лица часов.
Сколько на свете существ,
знающих, что такое время!
«Объяснять бесполезно, –
говорят мне они, –
это не тайна вовсе,
просто время нужно носить в себе».

* * *

И в памяти берег возник,
когда я, не ведая броду,
входила в латышский язык
наощупь, робея, как в воду,
в осенний ледок босиком.
Потом за латышскою речью,
как в сказке, пошла за клубком
в легенды, в глаза человечьи,
в озера, березы... В конце...
Конец получился веселый –
вдруг сильный латышский акцент
возник на губах, как бесенок,
и принялся звуки стеречь,

друзьям и врагам на забаву
славянскую терпкую речь
в латышскую править оправу.
Курьез ли, всерьез – не беда,
я вновь говорю без опаски,
сказали мне гласные: да!
согласные были согласны...

* * *

Смысл казни –
в ожиданье казни.
Я жду.
Все без меня решают там.
Живу не наяву.
В чужом рассказе.
В чужих полосках срочных телеграмм.

Мне ждать. Мне стыть.
Не встретить. Не расстаться.
Обжитый номер
пуст и незнаком.
На раму натыкаюсь
декорацией
чужой пустынный город за окном.

ОЯР ВАЦИЕТИС В ПЕРЕВОДАХ

ЛЮДМИЛЫ АЗАРОВОЙ

* * *

Люблю тебя,
смешная, озорная улица,
нечаянно найденная
зеленая расщелина,

с твоим выдуманым спокойствием,
с твоей небогатой радостью
и всем, что переплескивается через край.
Люблю тебя в антраците ночи
и с окнами в счастливых слезах дождя.
Люблю не первой любовью –
последней, за которой уже нет ничего.
Той любовью,
когда кончается обыденный воздух,
когда кончается все
и начинается космос,
если только у космоса есть начало...
Откуда мне знать?
Но, может быть, я узнаю.
Люблю тебя.
Всю жизнь в тебе полюбил.
Все ветра – в твоём дыхании,
все цветы – в твоих одуванчиках.
Я не знал, что так можно любить.
Не знал, что бывает боль от счастья.

* * *

Где он, запад,
напомни.
Я затворю его наглухо,

я не хочу сегодня,
чтобы солнце садилось.

Я не хочу сегодня,
чтобы часы тикали.

Пульс
так справедлив и резок,
что время ушло

из будильников,
календарей
и мгновений.

Время – в крови.

Сильвия с желтым шаром

Как очутилась ты, девочка Сильвия,
с желтым воздушным шаром
на дороге моей,
черной такой сегодня?

Ты явилась, словно ниспослана кем-то.
Прости, звучит это глупо...

Я бы мог поведать тебе черноту,
черным цветом цветут мои яблони.
Прости, я снова за глупости...

Прости меня, девочка
с желтым воздушным шаром,
меня тяжелого –
легкая,
как слетевшее наземь
солнце.

По черной дороге,
будто по черной змее ступая,
иду я тебе навстречу.

ЕГО НЕТ БОЛЬШЕ С НАМИ

(На смерть Павла Тихомирова)

(1943– 2012)

Замечено, что есть люди, о которых вспоминаешь с трудом, а есть, о которых вспоминается легко и просто, но когда просят рассказать, то приходится ограничивать наплывы воспоминаний, чтобы образ дорогого тебе человека сделался для окружающих ясным и определенным.

Когда в 1995 году получил известие, что в Москве скончалась Ольга Николаевна Вышеславцева (инокиня Мария), с которой мою семью два десятилетия связывала общность духовных интересов, в голове вдруг возникла пугающая мысль/осознание: «теперь придется жить самому». С Ольгой Николаевной меня познакомил, конечно же, Павел Тихомиров. Он пригласил ее отдохнуть летом 74-ого года к себе на хутор под Сигулдой...

Подобное же чувство я вновь испытываю теперь, узнав, что нет больше моего самого близкого друга Павла, с которым, вот, только три дня тому назад, мы два с половиной часа оживленно беседовали на интересующие меня психологические и «божественные» темы.

С Павлом Тихомировым я был дружен с юношеских лет и на протяжении полувекового с ним знакомства всегда его видел корректным и внимательным к любому человеку. В общении с друзьями в нем добавлялись веселость и непринужденность. Но сказать, что он был «толерантен», – пожалуй, к нему это слово не подходит. Он становился крайне серьезным, когда того требовала затронутая тема или обстановка, и особенно он не терпел вульгарности и пошлости, а в вопросах веры, прежде всего к самому себе, Павел был исключительно требователен. Помню, как он в моем присутствии растерялся, когда один наш общий друг (В.М., впоследствии вероотступник) в беседе на богословскую тему, в азарте разговора, стал перечислять его прегрешения, которые православный человек не должен допускать. Павел стоял перед ним, опустив голову, даже не пытаясь ему возражать, признавая, что грешен, и оправдываться не смеет. Такое смирение меня тогда поразило. Или, например, в середине 70-х годов он, долго не раздумывая, расстался со своей научной карьерой

и ушел с должности научного сотрудника Института механики полимеров, а затем и из Рижского политехнического института, когда начальствующие люди, узнав, что он церковный человек (чего никогда не скрывал), угрожали написать донос в КГБ, вынуждая поступить бесчестно.

Он всегда был довольно сдержанным в своих эмоциях, и иногда выглядел несколько суховатым. Все, что не было связано с реальным служением и утешением людей, ему, по большому счету, было не слишком интересно, возможно, даже скучно. Христово наставление: любите, служите другу другу в нем проявлялось не как чувствительность и сопереживание, а как непрерывная деятельная помощь. Внешняя сторона жизни – путешествия, развлечения, мирские интересы и удовольствия – то, что чуть ли не до гробовой доски привлекает большинство, – его чаще всего оставляла равнодушным. У него не было никаких интересов в привычном значении этого слова. Он, как мне кажется, не испытывал особых привязанностей ни к чему, в этом он вполне согласовал свою жизнь с призывом Апостола Павла – «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон» (Рим.13, 8). Мне казалось, что он все время чувствовал бессмысленность своего существования, если только не был занят служением человеку. К ежегодным празднованиям наших общих с ним именин в саду у его дома в Межапарке, они с женой Вероникой заранее готовились, стараясь угодить вкусам гостей, следили, чтобы никто не оказался обойденным или обделенным. После вынужденного ухода с институтской работы он, освоив переплетное дело (сам изготовил специальный пресс и другие приспособления), часто дарил книги, почти раритеты, им самим переплетенные.

Он посещал уже совершенно немощного и почти всеми оставленного Ивана Никифоровича Заволоко, выдающегося деятеля старообрядчества (просветителя, собирателя русских древностей...) до последних дней его жизни; как-то И. Заволоко назвал Павла «вы мои ноги» – по его просьбе Павел вместе с Вероникой подбирал в библиотеке нужные ему для работы редкие книги и приносил домой. А когда Ивану Никифоровичу стало совсем плохо, Павел переселился к нему в дом, ухаживал за ним, и тот умер у него практически на руках. Оказывать кратковременную помощь могут и готовы многие, но чтобы



так неотступно, до самого конца – редко кто на это способен.

Когда кто-то рассказывал ему о том, что человеку помогли в беде, он расплывался в улыбке, явно сам от этого испытывая удовольствие. Видимо, мысль о том, что кто-то испытывает в чем-либо реальную нужду, царапала ему сердце и не давала покоя, и он искал пути помочь человеку. Он, как и все мы, периодически с большей или меньшей остротой видел и чувствовал, как жизнь трудна, но, помогая другим, ему самому становилось легче жить и смиряться с тяготами земного бытия.

Вспоминаю с благодарностью каждый эпизод из бесчисленной череды общения с ним.

Павел Тихомиров занимался издательской деятельностью и был совладельцем магазина религиозной литературы «Филокалия» в Риге. Его знали, уважали и ценили в книгоиздательской среде Латвии и России. При его участии вышли «Писания мужей апостольских» (1992), Молитвослов (1995), первый том «Библиотеки отцов и учителей церкви» (1995), много сил вложил он в подготовку книги Преподобного Макария Египетского «Духовные слова и послания» (2002) и многое другое. На его кончину известный ученый, специалист по раннехристианской и византийской культуре, научный редактор-консультант Издательского Совета Московской Патриархии Русской Православной Церкви А. Г. Дунаев откликнулся словами: «за всю свою – правда, не такую и долгую – жизнь я не встречал больше таких людей: энтузиастов-трудооголиков, честных и ответственных, бескорыстных, верующих нелицемерно, готовых помочь другим. И при этом Павел Вячеславович был чрезвычайно скромным: он не хотел, чтобы даже упоминалось его имя. Он принадлежал старому поколению. Среди молодежи таких уже не сыскать. Без его моральной и материальной помощи я вряд ли состоялся бы как патролог... Если бы таких людей было больше в нашей Церкви и стране, все было бы по-другому».

Я тоже не знаю, есть ли такие люди еще. Наверняка где-то есть...

ТРИ ПИСЬМА

Эти письма были зачитаны на вечере, посвященном 75-летию Леонида Черевичника (1937 – 2001), 26 марта 2012 года в Латвийском обществе русской культуры

I

Взыскательный друг. Очень личное. Памяти Лени Черевичника

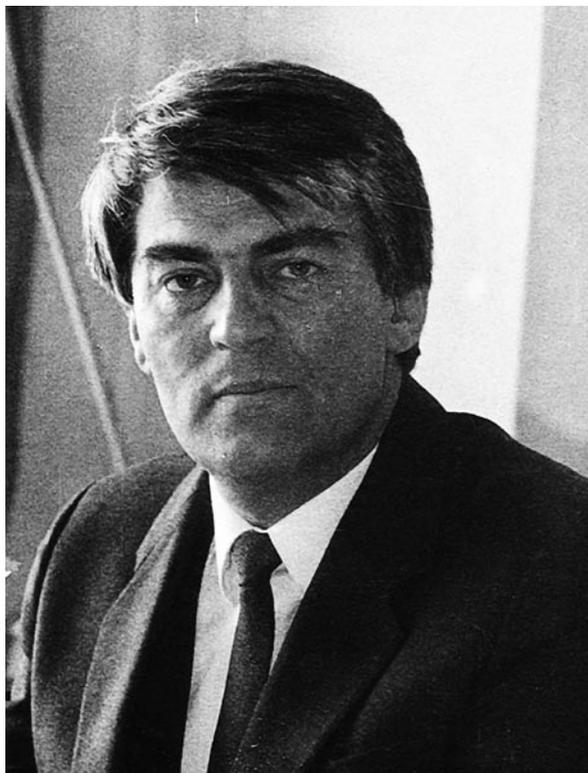
В конце 60-х в Риге в Союзе писателей Леня Черевичник был несомненно заметной фигурой. В издательстве – также, но если бы не Людмила Азарова, мои книжки, наверное, так никогда бы и не вышли.

А когда Леня Черевичник перешел работать в «Даугаву», он стал главной фигурой и для меня лично, так как в журнале он был редактором отдела поэзии.

Думаю, нам, пишущим стихи, очень повезло, что Леня не был заклинен ни на Б. Пастернаке, ни на М. Цветаевой. Ведь любить и восхищаться можно иным, а писать надо свое. Многие же из нас уже писали иероглифами, то есть, так, как, будто бы, положено было во второй половине XX века. Леня же требовал звучания смысла, из-за чего бывали баталии, в том числе и со мной.

Хотелось бы мне высказать огромную благодарность этому человеку, поэту Леониду Черевичнику, за то, что он всегда оставался взыскательным редактором и настоящим другом.

Но, как говорила одна добрая литовка: «А ведь если Вас, батюшка, посадить в бочку с селедкой, то и Вы засолитесь». С течением неумолимого времени Леня как-то слегка сдал позиции и даже сохранил – в одной из моих последних подборок в «Даугаве» (пользуюсь случаем всем об этом сообщить) – чудовищную опечатку. Думаю, эффект был соответствующий, и мне было очень стыдно. Какая, точно не помню, так как лет двадцать не держала в руках этой подборки, но помню, что позорная. Заодно припоминаю (да простит меня Леня, это не имеет к нему никакого отношения), что гравюра с «ню» вставлена в мой сборник «Живые искры» против моей воли, поэтому в тех экземплярах, которые дарила, я эту гравюру «одевала». Да и жизнь бы хорошо переписать набело, жаль, что нельзя.



Не знаю, помнят ли другие, но я помню, как бережно относился Леонид к тем самым «молодым литераторам», как он останавливал свойственную поэтическим посиделкам грызню. Защищал он и Френкеля, выросшего вдали от России в замечательного поэта, и Клаву Ротманову, и других пишущих, не сразу раскрывшихся. **Он защищал живое, которое умел видеть и уважать там, где его не могли разглядеть многие из нас, в том числе и те, кого уже нет. Ему было свойственно отстаивать свою точку зрения, отстаивать, однако, весьма деликатно и доказательно.**

Согласна с тем, что написал Сергей Морейно в последнем* Рижском Альманахе, и о Юрии Ивановиче Абызове, и обо мне, грешной...

Для меня Леонид был всегда редактором. Сейчас я стою на той позиции, что в литературе необходима цензура, а в юриспруденции – смертная казнь как мера пресечения. Чтобы люди с ума не сходили. И запрет на смертную казнь нерожденных младенцев. Подумать только, ведь теперь на деньги спонсоров или на собственные можно издать чего только НЕ. В том числе под видом любовной лирики – страстные памфлеты против христианства, кощунственные и самоубийственные.

Леня много занимался переводами.

В собственных стихах он лелеял какие-то умственные построения, философствовал, а, вернее, пытался с помощью фантазий передать нечто невыразимое. Любил же по-настоящему именно настоящую поэзию: Тютчева, Фета... – бессмертное. Когда же видел, чуял в ком-то поэтический импульс, потраченный на эскизы и наброски, на небрежные черновики, гневался и желал бы силой заставить человека думать, чувствовать и мыслить как сегодня – и как сам, но писать – как позавчера: благородные чувства, лазеревые мысли и хрустальные слова.

В последние годы составление Антологий стало для Лени как бы отчетом его жизненных дел. То же, что им написано о русской поэзии классической эпохи, то есть до «серебряной» и до «Бродячих собак», – вполне определило его внутренний вектор.

Он был упрям и честен.

Что ж, искусство – оружие. А могло бы быть белым флагом. Светлая память тому, кто любил святое искусство и служил по мере сил последним отпрыском его Мамврийской ветви.

Ольга Николаева. Серпухов.

22 марта 2012 г.

* Имеется в виду «Рижский альманах» № 2 (1993).

II

ОБ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

(Несколько штрихов к портрету Леонида Черевичника)

Передо мной несколько фотографий 1996 года. Сняты они в Доме Бенямина, когда там еще помещался Союз писателей Латвии. Именно там прошел вечер моих стихов, и фото были сделаны на этом вечере. Тот год был для меня памятным: я впервые после отъезда из Риги в 1987 году посетил свой город. Уезжал я еще при советской империи, не подозревая, что она доживает последние годы, и не имея никакого желания посещать ее, даже если это было бы возможно для эмигранта, а вернулся в Латвию в новые времена. Друзья устроили мне вечер в Союзе писателей, и народу пришло неожиданно много.

Вот на фотографии, снятой на этом вечере, мы и стоим троим: мой друг, московский поэт Александр Зорин, приехавший в Ригу в те дни, Леонид Черевичник и я – как будто мы и не расставались, хотя на самом деле не виделись девять лет, а вот запросто стоим, беседуем.

Алик Зорин недавно был в Израиле, мы вместе бродили по Иерусалиму. А Леонида давно уже нет, осталась только память о нем. Господи, да ведь и с того моего приезда уже прошло пятнадцать лет! Да, мы запросто встречаемся, мы все старые друзья, не замечая, что и эти встречи становятся если не историей, то непоправимо прошедшим, а то и фотографией в альбоме. О чем мы там беседовали так доверительно? Сейчас, конечно, уже не вспомнить. Хотя вообще-то встреч и бесед с Леонидом у меня было не так много. Мы жили в одном городе, но все-таки в разных сферах, плоскостях, как еще назвать, и объединяла нас, конечно, поэзия.

Леонид Черевичник приехал в Ригу в 60-х годах. Я хорошо помню, как мы, молодые тогда поэты, сидя в богемном «Птичнике», обсуждали только что вышедший его сборник стихов, написанный верлибром. Обсуждали, конечно, ехидно, зло и несправедливо, как у нас было тогда принято. Я еще с Леонидом не был знаком, познакомился позже, наверно, на семинаре молодых авторов в том же Доме Бенямина. Мы не часто виделись, но при встречах беседовали не только о поэзии, – что интересовало меня, – а о философии, особенно индийской, что интересовало его. Как-то он соединял это в своих стихах и даже в моих

находил что-то подобное. Потом мы виделись в основном в редакции «Даугавы», где он заведовал отделом поэзии. Об этих временах я написал в своем очерке-воспоминаниях «Право на одиночество в пустом кафе», отрывок из которого здесь привожу:

«...помня о том, что культура едина, я существовал, как мог, и в официальной литературе: в основном публикуясь в «Даугаве», благодаря стараниям и поддержке работавшего в журнале поэта Леонида Черевичника, незаслуженно тепло ко мне относившегося, и о котором я всегда, уже после его ранней смерти, сохраню благодарную память. Почему-то он мне симпатизировал, неоднократно вызывал на разговоры о смысле истории, об индийской философии, которой он увлекался, а я был к ней совершенно равнодушен. Увы, не могу сказать, что я как должно отвечал его дружбе: человек я неконтактный и вообще закрытый, особенно к тому, что мне не слишком интересно. Я так и не сумел поблагодарить его за поддержку в те годы, что до сих пор ощущаю как свою вину».

Уже на следующий год после моего вечера 1996 года я приехал в Ригу, и, наверно, тогда мы виделись в последний раз. Или это было еще через год? Не помню. Помню лишь то, что Леонид Черевичник переживал тогда тяжелые для него времена, да и был, очевидно, уже болен (о чем я тогда не знал), но по-прежнему «держал марку» – был таким же светским и уверенным в себе. По крайней мере, внешне. Мы тогда пошли в кафе, что открылось в том же Доме Бенямина, и я помню, что он ни за что не хотел, чтобы я его пригласил – он приглашал меня сам, он был хозяином, и это был не только мой, но и его город. Больше я его не видел, и запомнил именно таким.

Владимир Френкель. Иерусалим. 22.03.2012

III

Вспоминая Леню, я прежде всего вызываю из памяти споры с ним, в которых мне одержать верх никогда не удавалось, но соглашаться с ним было решительно невозможно. Упрямство его я вообще вспоминаю, всегда улыбаясь, но следовало бы и с запоздалой благодарностью – так, долгим зимним вечером 1981 года во время бесконечных провожаний друг друга он однообразно контратаковал

все мои красноречивые и упивающиеся собственным остроумием аргументы, почему мне не стоит тратить время на публикации в провинциальном скучноватом журнальчике. Итогом его атаки стало мое участие в «Даугаве», продолжившееся десять лет, о чем я сейчас думаю с умилением, включая сюда и неоднократные безуспешные пререкания с твердокаменным Леней. Из двух его идей, с которыми я по сей день не хочу соглашаться, назову две. Первая – что унылая до комизма поэзия эпохи Надсона только на нашем веку не вызывает читательского энтузиазма, а придет поколение, которому эти стихи будут лакомей нашего модернизма. Вторая – совсем неожиданная для меня в его устах, ибо с этой стороны я никогда о нем не думал. Она была проговорена, когда я сказал о своем решении переместиться в Иерусалим. Он сказал то, что я потом слышал от многих, – о соли, которая должна растворяться в мировом супе, о народе, которому выпало быть пищевой добавкой, а не основным блюдом, в общем, замашки мессианские, запрокидывающие по-гордецки голову и мне, повторяю, пока не близкие. Но я часто возвращаюсь к двум этим разговорам, и не знаю, не суждено ли мне быть переспоренным жизнью вместе с Леней.

Роман Тименчик

Иерусалим. 23.03.2012.

ОЛЕГ ЗОЛОТОВ

Благодарим Олега Петрова за предоставленное для публикации стихотворение Олега Золотова (1963-2006), стихи которого – одна из точек в самоопределении поэтической Риги.

АННЕ

Судьба, помедлив, сколь могла
(я сжат, и пуст мой бедный рот),
тебя, как плот, ко мне несла –
не донесла. Не донесет.

Я стар, и мой приятель сед,
я болен, и карман мой пуст;
судьба несет тебя, несет –
не донесла. Ну, пусть.

И разве краешком весла
черпнуть с поверхности воды –
где Волчий Путь, где три звезды –
не отхлебнуть. Не донесла.

ЭДГАР ГРИНШТЕЙН

«ПРОСТРАНСТВО БЕЗ
ГРИМА»

Стихотворения 1987 – 90 г.г.

Тайная вечеря

Уже смеркалось. Через синь
Закат оглядывался с дрожью,
Уже текли по бездорожью
Туманы с запахом пустынь.

Был дым, как сбившаяся прядь.
Была разлитая беспечность,
И в этом всем такая вечность,
Какой лишь может нехватать.

Все таинства и все века
Слагались правильно, как строфы.
Еще живой наверняка,
И в ожидании Голгофы,

В ладонях чувствуя металл,
Он проходил по миру снова,
Но, отрывая от земного,
Неукротимо нарастал

Обвал секунд, как гром шагов.
И всё труднее было слушать
Даль жизни и учеников
Непонимающие души.

Концерт

Собралось великое скопище нот,
И грезились нотам рожденные звуки,
Как будто орган, сквозь сомненья и муки,
Нашел, наконец, черный ход в небосвод.

Как будто вверху громоздилась гроза,
Под ней всё стремительно и ненадежно,
И долго прожить в этом мире нельзя,
Но длиться в звучании все-таки можно.

И можно из холода, из тесноты,
Из хаоса чувств, забывая о страшном,
Внезапно создать Вавилонскую башню,
И чьи-то надежды, и чьи-то черты.

И звуки врывались в открытые рты
Партера, клубились в азарте и пляске,
И призрак финала, и призрак развязки
Был ясен до ужаса, до немоты.

* * *

Что делать вечером, когда
Стоит туман над чашкой чая,
Когда песчаны города...
Дрожит пространство, ощущая
Шаги прохожего... И слово
Под вечер забредает в стих.
Когда страшнее чувств шестых
Кричит предвиденье слепого,
И ты повсюду взаперти,
И никогда не станешь внятным,
Но можешь на небо взойти,
Ступая по фонарным пятнам,

Когда во все ты посвящен:
В глубь осени, в немые лица,
И, если не прогонишь сон,
То будешь бесконечно длиться...

Что делать вечером?

Расставание с Балтикой

1

И опять прилив, и опять неотступен прибой,
И спасительней нет, нет тебя первозданной и ближе.
Твой песок принимает следы осторожно, как боль,
Твои волны страданье, как путь мой песчаный, залижут.

Просыпается ветер, и дни собираются в стаю.
Ты за мной не иди. Ты стараний моих не нарушь.
Я уже ухожу. Я уже забываю.
Даже имя твое, даже крик твоих птиц, даже плеск твоих душ.

2

Ты прими этот мир. Чтобы не было так одиноко,
И бездонная боль уходила в тяжелый песок.
Ты придумаешь тысячу лиц возле тысячи окон,
Чтобы каждому кровью твоею стучаться в висок.

Да услышится шум мостовых, словно поздняя осень,
И да сбудется поступь дождя, словно тысячи ног.
Ты свой мир наделишь отпущеньем, как травы – покосом,
И останешься в нем, чтобы не был он так одинок.

* * *

Опадающий вечер над призраком властен любим,
Не прощая теням ни шелков, ни залатанных рубищ.
И сколотишь поэтому крест, если слишком любим,
И поэтому будешь распят, если слишком полюбишь.

* * *

Я шагну за порог – и меня разметает в песок,
Стану странно высок, стану по-атомарному низок,
И под ветер столетий скорее подставлю висок,
Буду изгнан с небес, и, дробясь, простучу по карнизам.

– Поскорей! – бросит воздух, снимая земную узду, –
Ведь сегодня закат, и сегодня пространство без грима.
Если ты окрылен, вознесись во всевышнем чаду,
Если скован твой дух, значит, падай веками незримо.

Над волной тротуаров ревет опьяневший прибой,
И его ультиматум земле замирает утробно.
Я стою на пороге. Но шаг – и я стану собой,
Шаг, всего-ничего. Ожидание – жизни подобно.

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

«СРЕДИ ОГНЯ»

Анкона – 2

Век жизни я жила среди огня.
О, благо старости обугленной, забытой,
Что не коснется более меня
Любви земной напиток ядовитый.

Но девочки живое существо
Не умерло в одежде ветхой плоти.
Земное меркнет. Смотрит сквозь него
Лишь сердце, обреченное работе.

Не веществу, в истлении огня,
Но духу, вновь в неведение невинном,
Оно, от язв очистившись, повинно.
И новой прежнюю любовь храня,
В самой себе ее питает чинно.

Ступают девы веки опустив.
Пусть старицы свой стан склоняют ниже.
Известно персти, что земля ей ближе,
Но облака цветущие олив
Клубятся на сердце, пока ты жив.

+ + +

С неба просыпался рис или сорго, библейская манна.
Крыши срывало и жестью гремело и дач
Купы и кущи трепало, гудел покаянно
Ветер, горел на Оке. От Тарусы до Нижнего – плач.

Только укрыты Протвинские наши ангары.
С вётрами Нары весь берег укутался в хмель.
Летом – как в сельве, а в зимы хибарок сигары
Курят в Подмоклове. Склон его сер, как шинель.

Но налетела «крупа» и покрыла зимы недостатки.
Звучная носится музыка. Гаснет в бору.
Только «сережек» и «носиков» – шелест их – в рваной
палатке.

Церковь, дворянская сiesa стоит на юру.

Сколько уже поколений праправнуков кровных и внуков
В запертом храме семью поминает свою!
Горе размыкав, родня твоя, князь Долгоруков,
В старой ротонде монархам поет ектенью.

А поднимись-ка повыше – и ты не узнаешь пространства:
Высится улица сказочных особняков.
Здесь, на Руси, появляется новая «раса».
Скоро земли не останется для колосков.

+ + +

Бурная ночь открывает студёные дали,
Снежного ветра метлой, кисеею метет у реки.
Но, ожиданьем нахлынув, крестом запрещая печали,
Вспыхнув, рассвет раскрывает свои лепестки.

Серые тучки несутся по светлому небу
Словно рогожки, отдали зерно ораю.
Ветром снесло их с повозки, ненужные хлебу
Только осевки – снежинки летят сквозь зарю.

А в Алтаре, где Престол окунается в ладан,
В образе Хлеба бескровно Царя закалав,
Блещут орудия жертвы и Чаша Его Винограда.
Стражем стоит колокольня. И царской семьей – купола.

Вот и 12-й год. Рождество и второе рожденье.
В честь Богородицы здесь монастырь восстает.
Ангелы снова подхватят его на Введение,
Словно в Сарове с хоругвями выйдет народ.

Стали прозрачными своды. Когда иерей возглашает,
Ангелов стаи вздымают их мост разводной.
И не понять, то ли церковь на небо взлетает,
То ли Спасителя Лик наклоняется, став надо мной.

Чашею – купол. И небо в оправе – сапфиром.
Два патриарха и царь на священной земле –
Всё, что предсказано старцем святым Серафимом,
Сбудется! Чистым в сосудах храните елей!

28.12.11. Серпухов.

Введенский Владычный женский монастырь.

СЕРГЕЙ РАДЛОВ – К ПОСТАНОВКЕ РИЖСКОЙ БИОГРАФИИ

Сергей Эрнестович Радлов (1882 – 1958), один из выдающихся театральных режиссеров-экспериментаторов 1920-1930-х гг., чье имя в ряду с Мейерхольдом, Вахтанговым, Таировым, постановщик знаменитых спектаклей в ленинградских и московских театрах, в 1930-х гг. – художественный руководитель Мариинки и Александринки.

Ориентиры биографии: напомним, чуть подсветив и подкрасив для рельефности, последние сцены.

Вторая мировая война. Ленинград. В марте 1942 г. Театр-студию под руководством С.Радлова (с 1939 г. – Театр имени Ленсовета) эвакуируют из блокадного Ленинграда на Северный Кавказ, в Пятигорск. Первоначально планировалось – в Наманган (Узбекистан), но С.Радлов сумел переиграть маршрут, добился знакомого (т.с. рокового) Пятигорска, где недавно, осенью 1940 г., театр давал гастролы. Вместе с Радловым была эвакуирована его жена, поэтесса и переводчик Анна Радлова. В конце апреля 1942 г. театр возобновил работу в Пятигорске, куда 9 августа 1942 г. в Пятигорск в походно-парадном порядке вошли части Вермахта. Эвакуировать театр полностью местные власти не успели. С.Радлов и большая часть труппы остались в оккупированном городе.

В начале января 1943 г. немецкая армия за стратегической ненужностью, в организованном порядке, оставила Пятигорск, в обозе – театр С.Радлова. В Запорожье, куда направили труппу, ей дали название: «Петроградский театр под руководством Радлова».

В сентябре 1943 г., в перспективе «выравнивания фронта», актеров погрузили на ж/д и перебросили с Востока на Запад, в Германию. 29 сентября радловцев доставили в Берлин, где они поступили в

распоряжение «Винеты» – одного из отделов министерства пропаганды. Очередная смена имен, на берлинском этапе радловский театр числится (по штату «Винеты»?) как: «Драматический ансамбль по обслуживанию лагерей восточных рабочих»¹.

Позднее ансамбль разбили на три группы, одну оставили в Германии, две другие весной 1944 г. перекинули во Францию, одну – в северную, другую (вместе с Радловым) в южную, в места дислокации батальонов Русской освободительной армии.

В августе 1944 г. был освобожден Париж, а вскоре и вся Франция. Несколько месяцев радловская труппа давала концерты и спектакли на юге Франции, в том числе и по соглашению с советской военной миссией.

В освобожденной Франции труппа в очередной раз сменила название: «Ленинградский театр Ленсовета под руководством Сергея Радлова, Заслуженного деятеля искусств СССР» (Théâtre Lénsoviet de Leningrad sous la direction de M^{onsieur} Serge Radlow Metteur en scène émérite de l' U.R.S.S.), – как видим, на марсельской афише режиссера даже повысили в звании: из «Заслуженных РСФСР» произвели в «Заслуженные СССР»².

На горизонте, у правой кулисы, появляется Советское посольство. Артисты выступают перед соотечественниками, готовыми стать репатриантами с последующей судьбой. А Радловы, Сергей и Анна, 23 февраля 1945 г. вылетают в Москву, где их ждут обещанные переговоры о театре, который возглавит Сергей Эрнестович. Вот самолет коснулся земли, замер. Радловы, на выход! Вновь прибывшие уже раскидывают руки для объятий. Вместо встречных объятий – наручники. Как говорил впоследствии Сергей Эрнестович, «полет по маршруту „Париж – Лубянка” завершен».

Следствие продолжалось довольно долго, только 17 ноября

1. См. запись в кадровой анкете актера Одесского русского драматического театра Е.Котова. Выражаем признательность заведующему литературной частью театра Ю.В.Ющенко за предоставленные сведения. О берлинском этапе театра С.Радлова см.: Г.А. [Сидамон-Эристов Г.А.] Театр Сергея Радлова \\\ Заря. Берлин. 1944. № 28. 5 апр., [Сидамон-Эристов Г.А.] Театр Сергея Радлова \\\ Добровolec. Берлин. 1944. № 25. 26 марта

2. См. иллюстрацию в книге: В.Гайдабура. ГУЛАГ і світло театру. Листи із зони Сергія та Анни Радлових. Київ. Факт. 2009. Вклейка.

1945 г. Радловы были осуждены Верховной коллегией Верховного суда РСФСР по ст. 58-1 п. «а» УК РСФСР на 10 лет ИТЛ; С.Радлов – с конфискацией имущества, лишением звания Заслуженный деятель искусств РСФСР и Ордена Трудового Красного знамени.

31 января 1946 г. Радловых по этапу доставили в лагерь на станции Переборы близ г. Щербаков (Рыбинск). Деятельность Радлова-режиссера не была остановлена, здесь он выступил режиссером Театрального ансамбля культурно-воспитательного отдела МВД «Волгостроя», ставил спектакли и концерты для самодеятельности вольнонаемных.

В 1949 г., 23 февраля, в годовщину ареста, Анна Радлова скончалась. В размышлениях о своей судьбе С.Радлов писал: «То, что я продолжаю существовать, доказывает мне, что я трус и подлец и что гнусный инстинкт самосохранения оказался сильнее логики, разума, чувства долга и приличия. <...>. Логичнее и достойнее великой красоты этого изумительного, талантливое, чудного, нежного моего друга, если бы я поставил точку к своему существованию. Месяца три назад я был близок к тому, чтобы сделать это вместе нам обоим»³. (Режиссеру, который столько раз инсценировал смерть на сцене, видимо, нельзя не опасаться театрализации подобного жеста в реальности.)

Лагерный театр в 1951 г. расформировали, Радлова перевели на мехзавод по писчей части, но за ним сохранились занятия с самодеятельностью – *nulla dies sine linea*.

В июле 1953 г. С.Радлов еще в лагере, не позднее начала октября 1953 г., отбыв в заключении почти девять из десяти приговоренных лет, выходит за лагерные ворота.

Далее, как известно: Даугавпилсский и Рижский драматические театры.

Расширим поле документальных свидетельств.

*В.Я.Чобур⁴ – Н.С.Барабанову⁵
София, 29 октября [1953 г.]*

3. Письма С.Э.Радлова к В.Я.Чобуру (1946-1950) Публ. В.Гайдабуры // Театр. 1992. № 10. С.123-124. О попытке суицида см. воспоминания 1989 г. актрисы лагерного театра А.В.Леонтьевой: «После смерти жены Сергей Эрнестович пытался покончить с собой, его вытащили из петли» (Жилвинская Л. Новые материалы о С.Э.Радлове // Провинциальный альманах. Вып.3. Даугавпилс. 2003. С. 106).

Дорогой Николай Сергеевич!

<...>. Сейчас, когда я узнал о самой большой радости за последние годы, я не могу не поделиться с Вами, тем более, что я уверен, и вы ее с удовольствием разделите вместе со мною. Она, эта радость, касается и Вас в некоторой мере. <...>.

В Даугавпилсе мой дорогой учитель, друг и отец. Я имею в виду Сергея Эрнестовича. Бесконечно рад, что он свободен, рад за то, что он в Латвии, и, конечно, скоро будет в Риге. Сегодня получил письмо от Людмилы Алек<сандров>ны⁶, она пишет, что в мае запланирован «Отелло» с Юрием Ильичом⁷ в гл<авной> роли. Я уверен, что это будет событием, выходящим за пределы Латвии, в том случае, если этому будет придано должное звучание.

Это великолепный мастер, режиссер-педагог. Энциклопедически образованный человек. Филолог-классик по образованию и несмотря ни на что крупнейший режиссер Союза. Его работы в области Шекспира до войны сделали его режиссером с европейским именем, если не мировым.

Несчастье, постигшее всех нас, его учеников и его, конечно, в первую очередь, вычеркнувшее из его творческой жизни 8 самых творческих лет, погубившее в 1942 году наш театр – один из лучших в Лен<ингра>де, – сейчас даст ему новые силы для новых творческих дерзаний. <...> Жму Вашу руку.

*Ваш Чобур*⁸.

4. Чобур Вольдемар Янович (1910-1981), актер театра и кино, парторг радловского театра, в конце 1940-х – начале 1950-х гг. работал в Рижском театре русской драмы; в 1946 –1958 гг. постоянный корреспондент С.Радлова. О письмах В.Чобура С.Радлову см.: прим. 5, 6.

5. Барабанов Николай Сергеевич (1890-1970), многолетний артист Рижского театра русской драмы, в 1916-1918 гг. актер Александринки.

6. Благовещенская Людмила Александровна – актриса, жена В.Чобура.

7. Юровский Юрий Ильич (1894-1959), артист Рижского театра русской драмы. С Ю.Юровским был поставлен не «Отелло», а «Король Лир».

8. Rakstniecības un mūzikas muzejs=Музей письменности и литературы. Rīga. (Далее: RMM.)

* * *

Из воспоминаний Л.И.Брухиса

А в 1953 году в театр привезли с «биржи» С.Э.Радлова...

В Даугавпилсский театр вошел высокий, интеллигентнейшей внешности человек. Пошаркал по коврику ногами в огромных стоптанных сапогах, одернул длинными руками выдавший виды пиджак и прохрипел:

– Здрасце, господа артисты.

Пришел в кабинет и стал работать.

Очень скоро я пришел к «главному» на исповедь.

Он выслушал рассказ о моих злключениях, вздохнул и сказал только:

– Положитесь на судьбу⁹.

О театральной бирже, где «законтраковали» С.Радлова, вспоминал и тогдашний зам. директора-директор Даугавпилсского театра И.Е.Бескин в записи 1993 г. журналиста А.Соловьева: «В 1953 году я приехал в Москву, на театральную биржу. И увидел Радлова. Я знал его еще по Ленинграду, когда работал там во Дворце культуры. Радловцы приезжали к нам со спектаклями, например, «Похождение бравого солдата Швейка». Он шел раз пятьсот, и все с аншлагом... И вот вижу Радлова. В эковской амуниции, в телогреечке – в летнее время. Выглядел он очень плохо. Я подошел к нему:

– Сергей Эрнестович, когда Вы вернулись?

Говорит:

– Я прямо с эшелона, из ссылки.

– И что Вы собираетесь делать?

– Думаю устраиваться в театр...

Я предложил ему наш. Он дал согласие, и я привез его в Даугавпилс»¹⁰.

Верить ли рассказам И.Бескина и Л.Брухиса о том, как в Москве,

9. Брухис Лев. Чужой спектакль // Рига. Латвийский детский фонд, Фонд молодежной инициативы. 1990. С. 130. (Лит. запись С.Христовского.) Брухис Лев Иосифович (род. ок. 1925), б. з/к, актер, в 1980-х гг. директор Рижского театра русской драмы.

10. Соловьев А. «Так расскажи правдиво...» // Провинциальный альманах. Даугавпилс. 2003. Вып. 3. С. 98-99.

на театральной бирже, нашли для Даугавпилса режиссера, да еще в телогречке? Не должна ли была телогречка жать С.Радлову? На наш вкус, и не только на наш, рассказ, хоть и многократно нами читанный и слышанный, но все же сомнителен, тем более, что известна и другая версия появления С.Радлова в Даугавпилсе.

Впрочем, Валентина Старжинская (род. 1921), б. актриса Рижского театра, рассказывала нам, что еще недавно в Риге, в подвале дома, где она живет, хранился деревянный чемодан С.Радлова, с которым он вышел из лагеря. Если был деревянный чемодан и хранился, то м.б. была и театральная биржа и ватная телогречка – как жест, как вызов, как реквизит, как цитата?

* * *

Из воспоминаний В. Калпиньша¹¹

«В Министерстве культуры был обычный день приема посетителей. Взглянул на список ожидавших приема. Он начинался именем Сергея Радлова. Слава Богу, я знал, кто такой Радлов. Вот он вошел. Были мы с ним почти одного роста. [Калпиньш был роста высокого. – Б.Р.] Заметил, что у него подмышкой книга. Думаю: почему он с книжкой? Боялся, что ли, что придется долго ждать, а может, он всегда с книжкой? Позднее выяснилось, что он никогда не расставался с книжкой. Пригласил сесть. Он мне сразу сказал: я только что из ссылки. [Правильно: из лагеря. – Б.Р.] Ответил, что я тоже бывший зэк. Это нас разговорило. Я не наседаю на него с вопросами, за что был арестован, сколько отсидел. Как бывший зэк знал, что эти вопросы некорректны. Знал и о том, что бывшим заключенным нужно было давать подписку

11. Калпиньш Волдемар (Voldemārs Kalpiņš, 1916-1995), участник коммунистического движения и политзаключенный довоенной Латвии, в 1940-1941 гг. – ответственный секретарь Центрального органа КПЛ газеты «Cīņa», в 1942-1945 гг. – редактор красноармейской газеты «Latvijas Strelnieks», в 1953-1958 гг., – заместитель министра культуры, в 1958-1962 гг. – министр культуры и министр иностранных дел ЛССР, в начале 1962 постановлением ЦК КП Латвии уволен из Министерств за «ошибки буржуазно-националистического характера» и проч. В конце того же года назначен директором Музея литературы, театра и музыки. К внутрилатвийским событиям эпохи перестройки отнесся с настороженностью. В 2011 г. был издан посвященный ему, коммунисту, сборник, явление незаурядное в сегодняшней Латвии (Stāja. Voldemāra Kāliņa laiks. [Rīga.] 2011), где В.Калпиньш время от времени именуется – «еврокоммунистом», «идеолокоммунистом» и т.п.

в том, что они не будут рассказывать о заключении. Я понимал, что такого режиссера нельзя выпускать из республики. Единственная вакансия была в Даугавпилсе. Рассказал, что город не театральный, что в репертуарном и художественном отношении русский театр в упадке, что городское начальство культурой не интересуется. Сказал, что в Даугавпилсе театр нужно создавать практически заново, из ничего. <...> Это последнее место в республике, но, к сожалению, ничего другого пока нет. Сергей Радлов дал понять, что это его не пугает. Он сказал, что ему нужны сцена и актеры, а со всем остальным он справится. Ждал, когда он начнет говорить о зарплате и жилье. Он, однако, не просил ни зарплаты, ни жилья. Единственная просьба, что у него была, – позволить взять актера Яковлева, который тоже недавно был освобожден из заключения. И хотя актерских вакансий не было, я согласился. Радлов сообщил, что собирается ставить «Гамлета». Предупредил его, что труппа пестрая и сборная, материальные возможности театра – беднейшие. Ждал, что он начнет просить денег на постановку, на декорации. Но ничего такого он не просил. Со всем соглашался. Понял, что в лагере он работал в тяжелейших условиях, сравнительно с которыми Даугавпилс предлагал ему сказочные возможности»¹².

* * *

*С.Э. Радлов – В.К.Калпиньшу
5 апреля 1954 г.*

Уважаемый Вольдемар Кришьянович!

Долго не решался я послать Вам это личное письмо, но то гостеприимство, которое было мне оказано Министерством осенью минувшего года, увеличило мою смелость.

Сейчас уже около месяца, как я репетирую «Гамлета»¹³. Я стремлюсь вложить в эту постановку всю сумму мыслей и чувств, которые накапливались у меня за двадцать лет моей работы над Шекспиром, за пятнадцать лет размышлений о «Гамлете».

12. Цит по: Geikina S. Sergejs Radlovs Daugavpils krievu teātri // Tekila. Teātra un kino lasījumi. Rīga. Mansards. 2010. С. 67 – 70. С воспоминаниями о С.Радлове В.Калпиньш выступал в Риге, в 1988 г., на вечере, посвященном тридцатилетию со дня смерти С.Радлова. Аудиозапись воспоминаний хранится в RMM. (Ед. хр. 45334. Фонограмма). Расшифровка записи в статье С.Гейкиной дана с некоторыми сокращениями и редакторской правкой. Перевод с латышского Б.Р.)

Я не повторяю мою ленинградскую постановку 1938 года или мою киевскую 1941 г., а ко многому подхожу заново, ища бóльшей выразительности и бóльшей полноты решений. Ни один добросовестный художник не отважится сказать заранее, что его труд увенчается блестящей удачей; не пытаюсь предсказывать и я, но одно могу сказать уже сейчас – я имею все основания думать, что Яковлев¹⁴–Гамлет окажется интереснее и сильнее всех четырех Гамлетов, которые играли в моей ленинградской и киевской постановке¹⁵.

И вот в самый разгар этих репетиций, всегда напряженных, порою мучительных, но неизменно радостных, меня постиг неожиданный и тяжелый удар.

Приехавший из Риги администратор нашего театра сообщил со слов тов. Лауберта,¹⁶ что Даугавпилсский Театр ни в коем случае не должен рассчитывать на приезд в Ригу и возможность показать в Риге свои спектакли этим летом.

Вольдемар Кришьянович! Мысль, что вся работа над «Гамлетом» ограничится спектаклями в Даугавпилсе – поистине утнетающая

13. Речь идет о постановке «Гамлета» в Даугавпилсском русском драматическом театре.

14. Яковлев Василий Гаврилович (1913 – 1984. Рига), в театре – с 1934 г., выпускник Центральной студии Калининского областного драматического театра, артист Калининского театра. В конце 1941 г. Калинин ненадолго, приблизительно – на месяц, был оккупирован. По рассказу 2012 г. В.В.Старжинской, жены В.Яковлева, в оккупированном Калинин В.Яковлев был разнаряжен на организацию библиотек, в связи с чем вскоре после освобождения города был арестован. Судя по материалам личного дела В.Яковлева (LVA. Ф.505. Оп. 4. Ед. хр. 161. Лл. 172 – 182), осужден он был 3 июня 1942 г. В 1942 – 1949 гг. В.Яковлев – заключенный, артист Театрального ансамбля культурно-воспитательного отдела МВД «Волгостроя», где и познакомился с Радловыми, которые высоко оценивали его актерские возможности. Анна Радлова готовила с В.Яковлевым несостоявшийся Шекспировский концерт, в т.ч. сцены из «Гамлета». В 1949 В.Яковлев был освобожден из заключения, стал ведущим актером Щербаковского (Рыбинского) драматического театра. В 1953 г. С.Радлов телеграммой приглашает В.Яковлева и В.Старжинскую в даугавпилсский театр. См. еще о В.Яковлеве: LVA. Ф.678. Оп. 8. Ед. хр. 303. Л. 30.

15. В ленинградском спектакле роль Гамлета исполняли Дмитрий Дудников и Борис Смирнов; в постановке (репродукции Ленинградской работы?) Театра Киевского особого военного округа Гамлет – Георгий Полежаев. В письме В.Калпиньшу С.Радлов не мог упомянуть еще одну свою постановку «Гамлета» – в оккупированных Пятигорске-Запорожье, где в роли Гамлета выступал Николай Крюков (см. о нем ниже).

мысль! Недаром ведь тов. Мукинс¹⁷ на собрании работников театра в Горкоме говорил о том, что культурный уровень даугавпилсского зрителя сравнительно очень низок. Конечно, я мечтал показать эту работу (именно эту работу!) в таком большом и культурнейшем городе как Рига и не думал, что этот спектакль будет ограничен 4-5-ю тысячами даугавпилсских зрителей.

Ведь наша режиссерская работа не сохраняется надолго, как книга или картина, уедут 2-3 актера и спектакль распался, и все, что в него вложено, пропадет бесследно!

И неужели рижанам совсем уж не захочется посмотреть этот спектакль? Я знаю, что летом может приехать в Ригу «Гамлет» Охлопкова, но позвольте мне сказать чистосердечно, что я соревнования не боюсь (несмотря на всю разницу в материальных возможностях и в составе труппы)¹⁸ и что предыдущая наша встреча с Охлопковым на почве Шекспира окончилась не в его пользу¹⁹.

Конечно, очень грустное занятие – самому рассказывать о своих прежних заслугах! Но в данном случае мне приходится взять на себя смелость и напомнить Вам, что из всех советских режиссеров никто так много не работал над Шекспиром как я и что в свое время эта работа имела всесоюзное признание.

16. Лаубертс Ансис, сотрудник Министерства культуры Латвии.

17. Мукинс Эдгарс – секретарь Даугавпилсского горкома КП Латвии.

18. На лето 1954 г. в Риге намечались гастроли Московского Театра им. В.Маяковского, где в режиссуре Н.Охлопкова ставили «Гамлета», но к рижским гастролям «Гамлет» еще не был готов. Отметим, что в 40-х – начале 50-х гг. «Гамлет» ушел с советской сцены и вернулся туда только после смерти И.Сталина.

19. См. по вопросу: Золотницкий Д. Сергей Радлов. Режиссура судьбы. СПб. 1999.

20. Даугавпилсская премьера «Гамлета» прошла в начале июня 1954 г. Ближайшие отклики: Фариновский Н. Заслуженный артист Латвийской ССР. Подготовка спектакля «Гамлет» // Красное знамя. Даугавпилс. 1954. № 99. 21 мая; Дубашинский И., кандидат филологических наук, старший преподаватель педагогического института. На сцене – трагедия Шекспира «Гамлет» // Красное знамя. 1954. № 110. 5 июня; Бородовский Я., г. Даугавпилс. Шекспировский спектакль. Трагедия «Гамлет» на сцене Даугавпилсского театра // Советская Латвия. 1954. № 138. 12 июня. С.3.

Гастроли Даугавпилсского театра в Риге все же состоялись. Наибольшее внимание зрителей и печати привлек «Гамлет». Отклики: Jurovskis J. «Hamlets». Daugavpils krievu dramatu teātrī // Cīņa. 1954. № 154. 1 июля. С. 3; Пигулевский В. «Гамлет». К гастролям Даугавпилсского русского театра в Риге // Советская молодежь. Рига. 1954. № 129. 2 июля. С.3; Pāberzs L. Radoša drošme un degsme. Literatūra un Māksla. 1954. № 27. 4 июля. С.3.

Неужели же этой, наверное, последней в моей жизни работе над «Гамлетом», суждено ограничиться показом в Даугавпилсе?²⁰

Простите меня, что я так откровенно излагаю мои тревоги и мучения!

*Искренне преданный Вам
Сер<гей> Радлов*

Р. С. Мне было бы неприятно, если бы Вы подумали, что я недооцениваю ответственность работы в Даугавпилсе. Надеюсь, что всей работой этого сезона я доказал обратное. Тут речь идет только о «Гамлете» – его постановка для меня величайшее событие в моей жизни!

С. Р.²¹

* * *

Характеристика
на режиссера Даугавпилского Государственного русского
драматического театра Латвийской ССР
тов. Радлова Сергея Эрнестовича

Тов. Радлов Сергей Эрнестович, 1892 года рождения, б/п, по национальности русский, образование имеет высшее – окончил Ленинградский университет. Тов. Радлов С.Э. в должности режиссера Даугавпилского русского драматического театра работает с 1953 г. октября месяца.

Режиссер Радлов С. Э. за 9 месяцев работы в театре поставил спектакли: «Любовь на рассвете» – Галана, «Где эта улица, где этот дом» Дыховичного и Слободского, «Брак по дружбе» Гольдони, «Гамлет» Шекспира и капитально возобновил «Живой портрет» Моретто²².

21. RMM. Ед. хр. 113418. В переводе на латышский язык письмо опубликовано в упомянутом выше сборнике «Stāja» (с.144-145), посвященном В.Калпиньшу; сохранилось еще одно письмо С.Радлова В.Калпиньшу, от 5 нояб. 1955 г. См. : RMM. Ед.хр. 113419.

22. В январе 1955 г. в этом же театре С.Радлов поставил пьесу-сказку С.Маршака «Горя бояться – счастья не видать». (См.: Ф.678. Оп.8. Ед. хр. 311. Л. 12; Николаев Ф. Театральная хроника. Готовится премьера пьесы-сказки Маршака «Горя бояться – счастья не видать») // Красное знамя. Даугавпилс. 1954. № 255. 24 декабря;

Высокий художественный уровень, особенно таких спектаклей как «Любовь на рассвете» Галана и «Гамлет» Шекспира, свидетельствуют о зрелом мастерстве и плодотворной деятельности тов. Радлова.

VI. 1954.

*Заместитель министра культуры Латвийской ССР
[Подпись] /В.Калпинь/²³*

* * *

Из статьи В.Калпиньша «Даугавпилсский театр. 1858-1962»

Вскоре даугавпилсцев пригласили [с «Гамлетом» и другими спектаклями] на гастроли в Ригу. Тогда же у нас в столице гостил знаменитый Театр Моссовета [Правильно: Театр им. В.Маяковского]. Даугавпилсцам мы могли предложить [сцену] Дома офицеров. <...> Тут произошел забавный случай. В один прекрасный день в Министерство культуры ЛССР явился представитель администрации Театра Моссовета, чтобы протестовать против нарушения заключенного договора, поскольку было обещано, что этот театр будет работать в Риге в отсутствие гастролей других театров²⁴. Кто же мог представить, что какие-то недельные гастроли даугавпилсцев отнимут зрителей у ведущего советского театра. Так однако случилось: в кассе Дома офицеров билетов не хватало, в кассе Театра Моссовета – такое случилось не всегда²⁵.

* * *

29 июня 1954 года [Рига]

Стенограмма обсуждения спектаклей Даугавпилсского театра²⁶

На обсуждении выступили известный театровед Л.М.Фрейдкина, театральный критик В.Б. Блок, режиссер А.А.Гончаров, С.Радлов и артисты Даугавпилсского театра.

* * *

Приказ № 265. по Даугавпилсскому Гос<ударственному>
русскому драматическому театру
25 октября 1954 г. г. Даугавпилс.

Режиссера Театра т. Радлова С.Э. командировать в г. Ригу с 19.X по 19. XI. – 54 г. для выполнения режиссерской работы в Русском

драматическом театре²⁷.

Все расходы, связанные с командировкой т. Радлова, относятся на счет Рижского русского драматического театра.

И.о. директора театра /Копылов/ Верно [Подпись]

* * *

Приказ по Государственному русскому драматическому театру
ЛССР

от 11 января 1955 г. гор. Рига. № 4. § 5

Зачислить по совместительству на должность артиста высшей категории РАДЛОВА Сергея Эрнестовича с 10 января по 19-е января с.г. включительно для подготовки работы над пьесой «Ночь ошибок» и вводами в спектакль «Король Лир».

И.о. директора театра [Подпись] Хлебнов/²⁸

* * *

Приказ № 75 по Министерству культуры Латвийской ССР

25 января 1955 года. Гор. Рига

Тов. Р а д л о в а Сергея Эрнестовича, режиссера Даугавпилсского государственного русского драматического театра Латвийской ССР,

23. Государственный архив Латвии (Далее: LVA). Ф. 678 (Министерство культуры ЛССР). Оп.8. Ед.хр. 206. Л. 98. Что за характеристика? Кому и зачем? Обычно в такого рода бумагах отдельной строкой указывалось, для каких целей они предназначены. В приведенном документе соответствующие сведения отсутствуют. Кому же направлялась эта бумага? Не являлась ли эта характеристика одним из пунктов программы заместителя министра культуры ЛССР В.Калпиньша по легализации С.Радлова в Риге? Не предназначался ли этот документ (в соответствующем оформлении), в конечном счете, для ЦК КПЛ и КГБ ЛССР? К сожалению, прояснить ситуацию затруднительно – переписка Министерства культуры ЛССР давно и по акту уничтожена. Но в 1988 г. на вечере, посвященном 30-летию со дня смерти С.Радлова, В.Калпиньш, посмеиваясь, говорил о том, что перевод С.Радлова в Ригу потребовал определенной работы с КГБ ЛССР (См. об этом: RMM. Ед.хр. 45334).

24. Даугавпилсский театр гастролировал в Риге с 15 июня по 25 июля; Театр им. Маяковского – с 4 июля по 1 августа. Наложение гастролей, таким образом, пришлось более, чем на три недели.

25. Kalpiņš V. Daugavpils teātris 1858 – 1962 // Literatūra un Māksla. 1988. 25. marta. Перевод Б.Р.

26. RMM. Ед. хр. 130046. Лл.1-60

перевести в распоряжение Государственного русского драматического театра Латвийской ССР с 25 января 1955 года.

Заместитель министра культуры Латвийской ССР
[Подпись] /В.Калпинь/²⁹

* * *

Приказ по Государственному русскому драматическому театру
ЛССР от 27 января 1955 г. Гор. Рига. № 12. §1

Зачислить с 25 января с.г. РАДЛОВА Сергея Эрнестовича в порядке перевода из Даугавпилсского театра на должность артиста высшей категории с окладом 1 500 рублей в месяц.

[Подпись] /Хлебнов/

Основание: Приказ Мин<истра культуры ЛССР № 75 от 25. I. 55 г.³⁰

* * *

Сергей Радлов – Надежде Бакаловой³¹

Милая Надежда Романовна,

Послезавтра Вы уже должны переезжать с дачи в Ригу³². <...>

27. LVA. Ф. 505 (Рижский театр русской драмы). Оп. 4. Ед. хр. 11. Л. 251. Речь идет о работе С.Радлова над «Королем Лиром» – премьеры 22 ноября 1954 г. В Репертуарном плане Рижского театра «Король Лир» значился уже в приказе от 21 января 1954 г. Состав исполнителей был определен приказом от 30 марта 1954 г. Имя С.Радлова как режиссера спектакля значилось уже в обоих приказах (См. LVA. Ф.505. Оп.4. Ед. зр.11. Лл. 361, 402.) Т.е., надо полагать, к январю 1954 г. Министерство культуры ЛССР сумело убедить КГБ ЛССР, что без С. Радлова театральная Рига и Латвии жизни нет. Перевести С.Радлова в Ригу, оформить прописку – следующий пункт в режиссерском замысле В.Калпиньша, если мы верно понимаем его замысел. Обратим еще внимание на начальную и конечную даты командировки: 19 октября – 19 ноября. Так что – «Король Лир» был поставлен за месяц? Сомнительно, вероятнее всего, начальный этап работы С. Радлова над спектаклем из каких-то конспиративных соображений в приказах не обозначался. Просто заговор какой-то дирекций Даугавпилсского театра, Рижского театра – под предводительством Министерства культуры в лице В.Калпиньша против территориальных границ, положенных НКВД-МГБ-МВД С.Радлову. Ай да Калпиньш!

В архиве театра сохранились режиссерские экземпляры радловских «Короля Лира» и «Макбета» (См.: LVA. Ф.505. Оп. 2. Ед. хр. 122, 137).

28. LVA. Ф. 505. Оп. 4. Ед.хр. 12. Л. 2-3. После успешной постановки «Короля Лира» С.Радлова, как видим, зачислили в штат Рижского театра, сперва – по совместительству, а чуть позднее – на основную работу. Режиссерской вакансии пока нет (режиссерской должности пока не достоин?), провели как актера – по одной из высших категорий.

Я буду в Риге очевидно, как и предполагал, 3-го числа – у меня много дел до открытия сезона.

Отсюда так и не выбрался в Переборы³³ – ни на письмо, ни на телеграмму не получил оттуда ответа.

Чем же я тут занимаюсь? Главным делом, сижу дома с Сарой³⁴ и хожу в Библиотеку им. Ленина, читаю книжки по Шекспиру. Нигде в театре не был и даже не уверен, что куда-нибудь пойду. <...>

Ваш Сергей Радлов. 29.8.56. [Москва]

* * *

Приказ по Государственному русскому драматическому театру
ЛССР от 26 января 1957 г. Гор. Рига. № 9. § 1

С 1-го февраля с.г. артиста РАДЛОВА С.Э. перевести на штатную должность режиссера театра с окладом 1500 рублей.

Директор театра [Подпись] /Хлебнов/³⁵

* * *

Сергей Радлов – Надежде Бакаловой

Вот я уже вторые сутки в Одессе, моя родная, милая! Много ли я успел сделать за это время? Был вчера на спектакле в Украинском театре, – шла пьеса, переведенная с румынского. Оттого ли, что я чувствовал себя усталым, но я многого не понимал в тексте. Сегодня буду смотреть «Фабричную девчонку»³⁶ и разговаривать с художником³⁷. Первое

29. LVA. Ф.678. Оп.8. Ед. хр. 21. Л. 178.

30. LVA. Ф. 505. Оп. 4. Ед. хр. 12. Л.12.

31. Бакалова Надежда Романовна (род. 1920 г.), ленинградка, педиатр, участница войны, выпускница Ленинградского педиатрического медицинского института, по окончании которого некоторое время работала в Даугавпилсе, где и познакомилась с С.Радловым. Муж Н.Бакаловой – Александр Петрович Бакалов (ум. 1977, Рига), журналист, корреспондент «Красной звезды» (в 1940-х гг.), «Лесной промышленности», АПН, Латвийского информационного агентства. О Н.Бакаловой см.: Зайцева Г. [Беседа с Н.Бакаловой.] Статья любимой – это просто // Лилит. Рига. 1999. № 3. Март. С. 68-71; Зубарева О. Война и любовь Надежды Бакаловой // Люблю. 2010. № 18. 11 мая. С. 10-11. Письма С. Радлова Н. Бакаловой хранятся в домашнем собрании Н.Бакаловой.

32. Речь идет о даче на Рижском взморье (Юрмала), где в Асари, на Семафора, 6 снимал дачу С. Радлов.

33. В Переборах С.Радлов собирался навестить могилу жены.

впечатление от театра неплохое – играют недурно. Но единственного моего знакомого в театре уже нет – Франчук ушел пока в отпуск, затем в отставку, так что меня встретил в театре новый директор.

[1957 г. Конец августа. Одесса.]. Ваш Сергей Радлов

* * *

*Сергей Радлов – Надежде Бакаловой
№ 5. 3. IX.57.*

Родная моя, единственная <...>.

Репетировать я кое-как начал. Вернее, вчера прочитали пьесу, сегодня выходной день, а завтра начнем потихоньку репетировать. Понемногу, т.к не кончились еще репетиции «Василисы Мелентьевны», которая выйдет через неделю. Пока один, скромный успех, что нам дали в помощники их единственного режиссера, очень молодого, но довольно смышленного.

Все это время я совершенно один – с Котовым³⁸ увиделся в первый раз! – сегодня.

34. Лебедева Сарра Дмитриевна (1892-1967), скульптор, сестра А.Радловой.

Август 1956 г. – не первая поездка С. Радлова в Москву. Например, в апреле того же года Министерство культуры (театр?) делегировало его в Москву на шекспировскую конференцию, да еще с докладом. (См. об этом: Šekspira konference // Literatūra un Māksla. 1956. 14. apr.)

35. LVA. Ф. 505. Оп. 4. Ед. хр. 13. Л.9.

36. Пьеса А.Володина.

37. С.Радлов приехал в Одессу для постановки пока неизвестной нам пьесы в Украинском театре им. Октябрьской революции (ныне: Украинский музыкально-драматический театр им. В.Василько). По некоторым данным, постановка состоялась, однако достоверных сведений о спектакле нами пока не обнаружено.

38. Котов Евгений Александрович (1912-2001), по возвращении из Франции, судя по кадровой анкете, отложившейся в архиве Одесского русского драматического театра, в 1946 – 1949 гг. работал в Пскове, в 1949-1951 гг. – в Туле, в 1951-1952 гг. – в Харькове, в 1952 – 1954 – в Рижском театре музыкальной комедии, с января 1955 г. в Одесском русском драматическом театре, снимался в кино, в конце 1996 г. – начале 1997 г. вернулся на берега Невы. Заслуженный артист Украинской ССР (1965 г.). Имеющиеся в литературе сведения о лагерном преследовании Е.Котова не подтверждаются.

* * *

Приказ по Государственному русскому драматическому театру
Латвийской ССР от 14 декабря 1957 г. г. Рига. № 152

Утверждаю распределение ролей в спектакле «ГАМЛЕТ»
В.Шекспира <...>:

Гамлет – Яковлев В.Г. <...>

Первый актер – Крюков Н.Н.³⁹

И.о. директора театра [Подпись] /Ансон/

* * *

Сергей Радлов – Николаю Черкасову

«С тех пор, как я обедал у Вас, я стал и лучше и хуже. Лучше потому, что у меня теперь чистый паспорт, с меня снята судимость и лишения в правах, и я могу жить, где угодно. Хуже потому, что я пережил довольно неприятный инсульт, и с тех пор удивительно остро и болезненно воспринимаю всякие, даже маленькие царапины и щелчки судьбы. Вот почему мысль, что я напишу просьбу пригласить меня в Ленинград и получу отказ, так меня пугает, что я предпочитаю весь остаток жизни безвыездно прожить в Риге, чем пройти сквозь это, пусть даже миниатюрное унижение...»⁴⁰.

39. Гос. архив Латвии. Ф. 505. Оп. 4. Л. 175.

В.Яковлев и В.Старжинская по приглашению С.Радлова, с 1 сентября 1956 г. перешли в Рижский театр (LVA. Ф. 505. Оп.4. Ед. хр. 12. Л. 252). Отметим, что еще до В.Яковлева, С.Радлов пригласил в театр Н.Н.Крюкова, который, напомним, в 1943 г. играл Гамлета в оккупированных Пятигорске и Запорожье. Николай Николаевич Крюков (1915-1993), по возвращении из Франции работал в театрах Тбилиси, Твери, Ростова-на-Дону, Ленинграда, Риги. Много снимался в кино, среди наиболее известных ролей: центральный персонаж фильма «Последний дюйм», полковник Моран в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Заслуженный артист РСФСР (1991). Н.Крюков пришел в Рижский театр 21 января 1956 г., ушел – 6 сентября 1958 г. (См.: LVA. Ф.505. Оп. 4. Ед.хр. 12. Л. 198; Ф. 505. Оп.4. Ед. хр. 13. Л.290; Ф.678. Оп. 8. Ед. хр. 303. Л.31), играл в Риге у Радлова Макдуфа в «Макбете», был введен на роль Кента в «Короле Лире». В «Гамлете» 1957 г. Н.Крюкову отводилась роль Первого актера. Входила ли в замысел Радлова встреча на сцене исполнителей одной роли?

Вскоре после объявления приказа о начале работы над «Гамлетом» В.Яковлев тяжело заболел и вернулся в театр только в конце сезона, к тому же еще не окончательно оправившимся после болезни. По воспоминаниям В.Старжинской, С.Радлов, узнав о болезни В.Яковлева, сказал: «Другого Гамлета я не вижу», – и идея очередной (четвертой) постановки «Гамлета» была им отставлена.

* * *

*Приказ По Государственному Русскому Драматическому театру
ЛССР. От 3 июня 1958 г. г. Рига. № 56. § 2*

Режиссера С.Э.РАДЛОВА временно, с 6-го июня с.г. перевести на должность режиссера-ассистента с окладом 750 рублей.

[Ознакомлен] [Подпись] /С.Радлов/

§ 3. Командировать С.Э. РАДЛОВА на гастроли в г. Ленинград с 5-го июля с.г.

*[Ознакомлен] [Подпись] /С.Радлов/
Директор театра /Хлебнов/⁴¹*

* * *

Стенограмма обсуждения гастролей Русского драматического театра Латвийской ССР в Ленинграде. <Всесоюзное театральное общество. Ленинградское отделение.> 24 июня 1958⁴².

В обсуждении принимали участие известные ленинградские театроведы и критики: Ю.А.Головащенко, Я.Н.Рохлин, С.А.Цимбал. Председатель собрания – Т.Г.Зеньковская. Среди спектаклей, о которых шла речь, – радловские «Привидения» и «Король Лир». Оценивая «Короля Лира», все докладчики имя режиссера осторожно обходили. В обсуждении не было и упоминаний о знаменитой постановке С.Радловым спектакля «Король Лир» с С.Михоэлсом в Государственном еврейском театре (Москва. 1935 г.). Ленинградский пресс давил сильнее рижского?

40. Цит по: Гайдабура В. «И наша первая любовь горит последнею любовью». С. 109 – 110. Датировка в книге В.Гайдабуры не приведена, очевидно, что письмо связано или с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (17 сент. 1955 г.) или реабилитацией С.Радлова (20 декабря 1957 г.).

41. LVA. Ф. 505. Оп. 4. Л. 255. Этот приказ, как и приказ от 6 сентября 1958 г. (см. ниже), не только свидетельство падения активности С.Радлова в Рижском театре, но, вероятно, и знак высвобождения времени в ожидании приглашений в Ленинград и другие города. Формально никаких препятствий для приглашений не было, разве что ленинградские театры не преминули бы согласовать приглашение С.Радлова с безнадежным Ленинградским обкомом КП СССР, да и соперничество с С.Радловым не каждый ленинградско-московский режиссер согласился бы испытать. В таких обстоятельствах окончательно рвать с Ригой было нельзя.

42. LVA. Ф.505. Оп. 1. Ед. хр. 37. Лл. 1-62.

* * *

Сергей Радлов – Надежде Бакаловой

Наденька, моя дорогая, простите, ради Бога, что пишу карандашом, здесь очень трудно достать чернила. <...>

Сегодня с утра был в Ленинграде <...>. Завтра переезжаю в Репино, Дом Композиторов, где отдыхают Шостакович, Дмитрий Толстой⁴³ и т.д. <...> пока ничего не знаю о зиме. Как будто буду работать «Антоний и Клеопатру»[!] у Вивьена⁴⁴ в Александринке. Но это в 1959 году. Что до этого пока непонятно. <...>

Ваш Сергей Радлов 19.VII. 58 г. Комарово. <...>.

* * *

Приказ по Рижскому Театру Русской Драмы от 6 сентября 1958
г. г. Рига. № 93. § 8

С.Э.РАДЛОВА с 6-го сентября с.г. перевести на должность артиста с окладом 750 рублей.

Директор театра [Подпись] /Хлебнов/⁴⁵

* * *

Приказ по Государственному Рижскому Театру Русской Драмы
От 28 октября 1958 г. г. Рига. № 109. § 3

В связи со смертью С.Э.РАДЛОВА с 27-го октября с.г. в штате театра не числить.

Директор театра [Подпись] /Хлебнов/⁴⁶

43. Д.Толстой оставил воспоминания о встрече с С.Радловым в Репино. См.: Толстой Д. Для чего все это было. Воспоминания. СПб. Библиополис-Композитор. 1995. С. 92-93.

44. Вивьен Леонид Сергеевич (1887-1966), гл. режиссер Ленинградского театра им. А.С.Пушкина (Александринский театр, Александринка). По устным сведениям, помимо переговоров с Л.Вивьеном о шекспировском спектакле, С.Радлов обсуждал постановку «Лисистраты» Аристофана с Н.П. Акимовым (1901 – 1968), главным режиссером Ленинградского театра комедии. Аристофану же С.Радлов посвятил едва ли не единственную свою статью за военный и послевоенный периоды: Radlovs Sergejs. Aristofans – mūsu laikabiedrs [Аристофан – наш современник] // Literatūra un Māksla. 1954. № 52. 26 дек. С.8. Отметим, что одним из редакторов этой газеты был все тот же В.Калпийнш; полагаем, что статья С.Радлова должна были свидетельствовать о его полноценности как советского режиссера и гражданина, к тому же укорененного

СЕРГЕЙ РАДЛОВ

Умер один из известных театральных работников, старейших режиссеров, заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Радлов. Он проработал в театре свыше 40 лет, отдавая любимому делу всю свою энергию и талант.

Сергей Радлов родился в 1892 году в Ленинграде. В 1916 году он закончил историко-филологический факультет университета и начал заниматься научной и педагогической работой. В 1918 году Сергей Радлов основал в Ленинграде «Первую коммунальную труппу». С этого начинается его обширная работа на поприще театрального искусства. Долгие годы С.Радлов руководит крупнейшими ленинградскими театрами, развивая советское театральное искусство. Будучи всесторонне образованным человеком и талантливым художником, хорошо зная особенности театрального искусства, он добивается больших достижений в режиссерской работе. С 1953 года С. Радлов работает в театрах Латвийской республики. Он поставил много спектаклей в Даугавпилском театре, в том числе – широко известный спектакль «Гамлет» Шекспира. В 1955 году С. Радлов начинает работать в Рижском театре русской драмы. Здесь под его руководством поставлены многие высокохудожественные спектакли – «Король Лир» Шекспира, «Привидения» Г. Ибсена, «Ночь ошибок» О. Голдсмита, «Иван Рыбаков» В. Гусева и другие⁴⁷.

С. Радлов вел также обширную научную и педагогическую работу. Он воспитал многих режиссеров и актеров, которые успешно работают в театрах нашей страны. Большой вклад он внес в исследование античного театра и творчества Шекспира. За заслуги в области театрального искусства ему присвоено почетное звание Заслуженного деятеля искусства РСФСР и Орден трудового красного знамени.

Память о большом художнике и педагоге надолго сохранится в наших сердцах.

*Министерство культуры Латвийской ССР
Театральное общество Латвийской ССР
Рижский театр русской драмы⁴⁸*

в Латвии. Скорее всего, с этой же целью 26 апреля 1954 Радлов выступил с лекцией «Работа художника в театре» в Союзе художников (См.: Šonedeļ // Literatūra un Māksla. 1954. № 52. № 17.25 apr.)

45. LVA. Ф. 505. Оп. 4. Л.296.

46. LVA. Ф. 505. Оп. 4. Л. 315.

47. Спектакль «Иван Рыбаков» в связи с болезнью С.Радлова заканчивал Ю.Юровский. Помимо отмеченных выше спектаклей, С.Радлов поставил еще в Риге: «Ромео и Джульетту» (ТЮЗ, вместе с П.Хомским), «Макбета», «Последний выбор» Ремарка, «Это было в Конске» В.Катаева, в бригаде режиссеров участвовал в

* * *

Помимо газеты «Сīпа» – центрального органа Коммунистической партии Латвии, еще один некролог от имени группы работников Даугавпилсского театра был помещен в даугавпилсской газете,⁴⁹ траурное объявление о кончине С.Радлова и гражданской панихиде от имени Рижского театра русской драмы было опубликовано в газете «Советская Латвия»⁵⁰.

Министерство культуры СССР, Всесоюзное театральное общество все еще предпочитали держаться в стороне от недавнего заключенного, пусть и реабилитированного. Правда, в газете «Советская культура» некролог был помещен, но – от лица Латвийской ССР:

Министерство культуры Латвийской ССР, Театральное общество
Латвийской ССР, Рижский театр русской драмы
с глубоким прискорбием извещают о смерти
старейшего режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР
Сергея Эрнестовича Радлова и выражают соболезнование родным
покойного⁵¹.

По устным воспоминаниям, прощание с Сергеем Эрнестовичем Радловым в театре затянулось. В конце октября темнеет рано. Когда пришли на кладбище, уже смеркалось. А тут еще у могилы не всем удалось проститься с ушедшим. Осеннее небо, надвигающийся вечер, две или три мятущиеся фигуры, неподвижные группы...

Когда я начинал собирать материалы о С.Радлове, мастере шекспировских спектаклей, волей-неволей присматривался, а нет ли (литературной яркости для) в судьбе Сергея Радлова чего-то хотя бы мельком шекспировского. Подыскивал, прикидывал, сближал, отдалял... Общее место. Как рассказывала В.Старжинская: «Атмосфера на кладбище была какая-то угнетенная, царило что-то шекспировское». Так ли, не так ли – согласимся... Не должно было быть иначе!

Маловато? Вспомним сына, не готового отвечать за отца, вспомним актеров, принужденных на следствии давать показания против своих учителей... Напоминает? Вспомним Анну Радлову... И не только ее... Вспомним В.Старжинскую-Офелию в радловском «Гамлете», ухаживавшую за пораженным болезнью мужем – В.Яковлевым-Гамлетом, и реплику врача:

постановке концерта-спектакля «О любви, родине, поэзии» (Композиция Ю.Абызова по стихам А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского), в качестве режиссёра содействовал В.Балуне в работе над спектаклем «Тевье-молочник» (1958 г.).

48. Сīпа. 1958. № 255. 28.10. С. 4. Перевод И.Ц.

49. Sergejs Radlovs // Padomju Daugava. 1958. № 109. 31. okt.

50. 1958. № 255. 28 окт.

51. 1958. 30 окт. Цит по: Золотницкий Д. С.7.

«Вот не думал, что у комедиантов могут быть такие жены...». Вспомним заместителя министра культуры ЛССР В.Калпиньша, последовательно, во имя театральной культуры Латвии и т.д. боровшегося с системой за С.Радлова, и победившего. Верный Чобур. Все еще недостаточно? Можно припомнить еще что-то. Например, страх: Ленинград закроет перед ним, С.Радловым, свои железные ворота и поднимет мосты. (Ср., по рассказу В.Старжинской, ранний план действий режиссера: «Сейчас – Даугавпилс, потом – Рига, потом – Ленинград!».)

А можно ничего не вспоминать, а просто пустить дождь – все же осень... (Дождь.)

На могиле С.Радлова на кладбище Райниса в Риге Д.С.Радлов и Н.Р.Бакалова установили памятник – работа известного скульптора Д.В.Буковского (1910-1984), одного из авторов мемориального ансамбля, посвященного узникам концлагеря «Саласпилс» под Ригой (Ленинская премии 1970 г.). Вспомним, что в 1944 г., в Риге, Л.Буковский был мобилизован оккупационной администрацией в так наз. Русский легион СС, где какое-то время прослужил, откуда сбежал.

Памятник работы Л.Буковского представлял из себя стелу, на которой был укреплен бронзовый барельеф С.Радлова. В нижней части стелы металлическими буквами был набран текст из «Гамлета» в переводе А.Радловой:

*Пусть будет так. Горацио, я мертв.
А ты живешь – так расскажи правдиво
Все обо мне и о моих делах
Всем, кто захочет знать.*

Время выдавило буквы эпитафии из камня, около 2008 г. (уже на склоне бронзовой лихорадки) барельеф и украли. Ныне на стеле Н.Р.Бакаловой установлена гранитная табличка:

РЕЖИССЕР
РАДЛОВ
СЕРГЕЙ ЭРНЕСТОВИЧ
1892-1958

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ

На стеле, над верхней частью таблички, можно заметить тень, отпечаток радловского профиля.

Благодарим за помощь в работе Н.Р.Бакалову, В.М.Гайдабуру, М.В.Мишуrowsкую, С.Д.Радлова, В.В.Старжинскую, К.Г.Титова, З.Н.Сегалю.



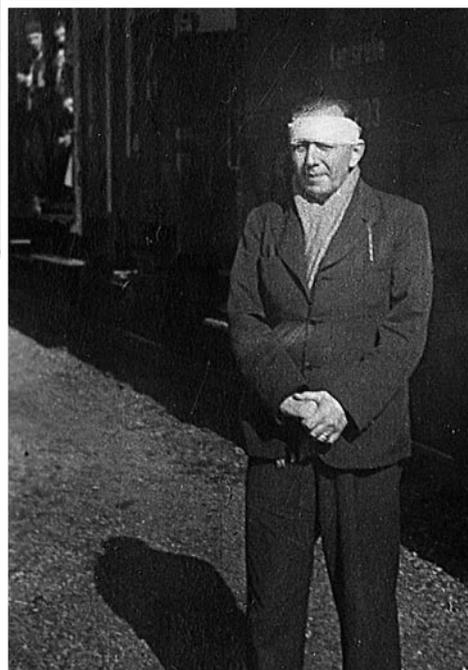
Театральный ансамбль культурно-воспитательного отдела МВД «Волгостроя». В центре А.Радлова, М.Дудко (1902–1981; заслуженный артист РСФСР, солист Кировского театра, в годы войны – в театре оккупированной Гатчины, руководитель передвижной хореографической группы, репрессирован; в 1953-1962 г. работал в театрах Уфы, Новосибирска, Тбилиси), С.Радлов. В последнем ряду третий справа -- В.Яковлев. Переборы(?). 19 ноября 1946 г. Собрание В.Старжинской.



Лагерный театр С.Радлова? Репетиция на рабочей площадке? Волгострой? Между 1946 и 1949 гг.? Собрание В.Старжинской.



Василий Яковлев в роли Гамлета.
Даугавпилский русский
драматический театр. 1954 г.
Собрание В.Старжинской.



С.Э.Радлов. Военно-лагерные пути. 1943-1953 гг.
Собрание Н.Р.Бакаловой

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

За период с прошлой, 2011 года, до нынешней, 2012, осени, издано довольно много новых поэтических книжек. Как наиболее заметные среди них хочется отметить по крайней мере четыре: **«Теней золотых лоскуты» Фаины Осиной** (Даугавпилс. Hronos. 2011.); **«Мы затеяли жить» Ильи Асаева** (Рига. Латвийское общество русской культуры. 2012); **«Персональный код» Владлена Дозорцева** (Рига. Jumī. 2012) и **«Вне сезона» Евгении Ошурковой** (Рига. «Литературное братство». 2012).

В новом сборнике Фаины Осиной самыми выразительными кажутся строки, где происходит как бы скрещивание сиюминутного в жизни, вплоть до бытового, с вечным, непреходящим. Прослеживается то приближение к этой точке, то удаление от нее, от чего зависит температура стиха. Интерес к этой книге удерживает глубина чувства, подлинность эмоционального переживания.

Стихотворения сборника **«Мы затеяли жить»** принадлежат перу очень рано (в возрасте 29 лет) и добровольно ушедшего из жизни Ильи Асаева. Он начинал, как бард; «на пересечении песни и стиха ... неожиданно возникала поэзия», – сообщается в предисловии к сборнику. Илья Асаев успел проявить одаренность и редкостную в столь раннем возрасте чуткость не только в поэзии, но и в других искусствах: миниатюрная скульптура, музыка... В сборнике помещены фотографии созданных И. Асаевым фигурок.

«Персональный код» – это шестая поэтическая книга Владлена Дозорцева, чье имя хорошо известно любителям художественного слова. В сборник вошли его новые произведения. Стихи, циклы, поэма **«К Сальери»** обращают на себя внимание яркими деталями, четко выстроенной драматургией. Автор хорошо владеет классическими формами стихосложения; умелое использование звукового элемента еще усиливает напор поэтической строки. **«Персональный код»** награжден Латвийской общественной премией года **«Признание»**.

Автор **«Вне сезона»** Евгения Ошуркова известна латвийцам как бард, многие слышали ее выступления по радио, на поэтических вечерах в Риге. **«Вне сезона»** – особенная книга: в ней собраны стихи-песни. **«Ошуркова – рижский менестрель»**, – пишет в предисловии Юрий Касянич.

К Дням русской культуры в Латвии, которые проходят второй год подряд, и, хотелось бы надеяться, станут традиционными,

приурочено издание поэтического альманаха «Письмена» (Дни русской культуры. Типография Jumī. 2012). Как сообщается в аннотации к сборнику, «альманах созвал на свои страницы поэтов Латвии и гостей фестиваля из 8 стран». А всего в книге представлено 70 авторов. «Хороших и разных». Планку помогают удерживать произведения таких известных поэтов, как Людмила Азарова (к сожалению, ее сегодня уже нет с нами), Владлен Дозорцев, Фаина Осина, Вера Панченко, Инара Озерская и другие. Кажутся интересными и подборки некоторых поэтов, чье имя пока еще, так сказать, «не на слуху»: Евгения Рузина, Татьяна Рускуле...; среди детских поэтов самые яркие – Максим Супрунюк, Владимир Новиков... Перечисление, разумеется, не полное.

Альманах составил и снабдил предисловием Юрий Касянич.

Среди книг латышской поэзии – сборник Улдиса Берзиньша. (Берзиньш Улдис. **Падежи и песни**. Авторизованный перевод с латышского Ольги Петерсон. Сост. Инесе Паклоне. Комментарии автора. Изд-во "Балускин". М. 2010. С. 172. "Книга издана в 2010 году издательством "Балускин" (Москва) и напечатана в 2012 году компанией "Printfinder" (Латвия) в количестве одной тысячи экземпляров, пронумерованных от "1" до "1000")

На заключительном вечере Дней русской культуры в Доме Москвы были названы победители 1-го Балтийского чемпионата поэзии:

Людмила Орагвелидзе (Тбилиси) – золотая медаль и Наталья Нечаянная (Москва) – серебряная медаль.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ИМАНТ АУЗИНЬ (1937) – поэт, переводчик, критик. Закончил отделение латышского языка и литературы историко-филологического ф-та ЛГУ (1961). Издано около сорока книг – сборники стихотворений, прозы, критических статей и размышлений. Переводил М. Лермонтова, Т. Шевченко, А. Блока, В. Незвала, а также современную украинскую, русскую, литовскую поэзию. Стихи И Аузиня переведены примерно на 15 языков.

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА (1965) закончила ЛУ, магистр филологии. Журналист, работает в газете «Вести-Сегодня». Публикуется в газетах, журналах Латвии.

НАТАЛИЯ БОЛЬШАКОВА родилась в Пятигорске, в 1982 году закончила Литературный институт им. М. Горького в Москве; автор нескольких десятков статей (в том числе, театроведческих, литературоведческих, богословских) и двух книг: «Христианство осуществимо на земле» – История создания и жизнь монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От (Франция), 2006 г.; «Жизнь и служение епископа Кампанского Мефодия (Кульмана)», 2009 г.

ПАВЕЛ ВАСКАН (1975) – поэт, прозаик, инженер по компьютерной технике; с 1998 г. работает программистом на территории Латвии. Публикации в газетах «Динабург», «Лабрит», в журналах «Даугава», «Невгин», в «Провинциальном альманахе», ежегодном сборнике даугавпилских поэтов «Dzejas dienas», а так же – в internet.

ИНГА ГАЙЛЕ (1976) – поэт, переводчик, драматург. Закончила отделение драматургии театра, кино и ТВ Латвийской академии культуры. Работала в рекламном агентстве, на Латвийском телевидении. Издано четыре сборника стихотворений. Автор нескольких сценариев для спектаклей в театрах Латвии, пьесы «Кожа», выпущенной издательством «Мансард» и поставленной в Театре улицы Гертрудес; публикации стихотворений в журнале „Kaņoga”, альманахе „Luna”, газетах „Literatūra un Māksla”, „Forums” и в других изданиях. Переводила стихи рижских русских поэтов.

ГАРРИ ГАЙЛИТ (1944) – театральный и книжный критик. В 1988 году вышел сборник критических статей «Полет пчелы, сон и пробуждение». С 1958 года публикует статьи в газетах и журналах Латвии, а также в журнале «Дружба народов».

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВ (1969) – поэт, прозаик, переводчик. В Латвии с 1977 года. Закончил Московский Литературный институт им. Горького. Публиковался в «Рижском альманахе», в журналах «Даугава», «Дружба народов».

ГРИГОРИЙ ГОНДЕЛЬМАН (1962) – поэт, переводчик. Образование высшее гуманитарное: английская филология (1990). Работает в коммерческих проектах. Стихи публиковались в журналах "Родник", "Даугава", в альманахе "Современная русская поэзия Латвии". Переводы стихов с латышского – в журнале Родник.

ЭДГАР ГРИНШТЕЙН (1968) с 1987 г. до 1990 г. учился на биологическом факультете ЛГУ и работал в Институте органического синтеза Латвийской АН. В юности в Риге начал писать стихи. В 1990 г. выехал в Германию. В Берлине закончил биологический факультет Свободного Университета по специальности молекулярная биология и биохимия (1993). Является главным редактором и членом редколлегии научных журналов. и научных обществ, профессором на медицинском факультете ЛУ, где ежегодно читает лекции. Основные направления исследования: биология клетки, онкология, стволовые клетки.

РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ (1936) – прозаик, переводчик. В Латвии с 1975 года. Наиболее известны написанные в Риге романы-биографии о Бородине и Мусоргском, «Райнис и его братья» (1999). Переводил Райниса, А. Чака, М. Чаклайса, И. Аузиня, И. Зиедониса, К. Элсбергса и др.

ЕЛЕНА КОПЫТОВА (1974) – поэт. Окончила юридический факультет Московского государственного индустриального университета, магистратуру рижского Института транспорта и связи. В настоящее время работает преподавателем. Публиковалась в журнале «Даугава». Автор четырех сборников стихотворений: «В осколке истины» (1999), «Город» (2004), «Откровенный разговор» (2006), «Вечный черновик» (2009).

ЛЮДМИЛА МЕТЕЛЬСКАЯ – детский писатель. Окончила журфак Московского университета. Сотрудничала с латвийскими периодическими изданиями – журналами "Санта", "Гном"; газетой "Юрмала" и др. В «Рижском альманахе» I (VI) опубликованы ее "Накрошенные сказки".

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА (1945) – поэт, критик, переводчик. Жила в Таллине, Риге, где несколько лет проработала литконсультантом в газетах "Советская молодежь" и "СМ – Сегодня". В середине 1990-х гг. уехала в Россию, живет в Серпухове, где во Введенском Владычном монастыре исполняет послушание трудницы. Автор книг стихов: «Немеркнувший сад» (1976), «Живые искры» (1980), «Высокая горница» (1990). Печаталась как поэт и критик в журналах «Новый мир», «Даугава» и др., ее стихи включены в антологию «Русская поэзия: XX век» (М. ОЛМА-Пресс. 2001).

ВЛАДИМИР НОВИКОВ (1947) – поэт, прозаик, переводчик, художник книги. Автор многих сборников поэзии и прозы. Был главным редактором выходивших в Риге журналов «Гном» (1991 – 1995) и „Sveiki” (1993 – 1999).

Редактор латвийского журнала «Вестник моряка».

ЛЮДМИЛА НУКНЕВИЧ закончила 4 курса отделения журналистики Латвийского университета, затем сценарный факультет ВГИКа. Работала в журнале «КИНО», в различных газетах и журналах Латвии. В последние годы занимается переводами с латышского. Помимо множества статей, перевела книжку Норы Икстены «Amour fou. Чокнутая любовь в 69-и строфах» (вышла в свет в 2011) и книгу Лато Лапсы про Индию и Пакистан (еще не издана).

ЕВГЕНИЙ ОРЛОВ (1960) – поэт. Окончил филфак ЛГУ, работал учителем, журналистом в прессе и на ТВ. В настоящее время работает в газете «Час» (Рига, Латвия). Издано три сборника стихотворений (2005, 2006, 2010). Стихи публиковались в литературных журналах: «Родник» (Латвия), «Литературная учеба», «Новая Аврора», «Знамя» (Россия), «Континент» (США), «Новый берег» (Дания) и др.

БОРИС РАВДИН (1942) – историк культуры. Окончил историко-филологический ф-т Латвийского ун-та, работал в школе учителем литературы, в 1991-2006 гг. – редактор отдела, соредактор ж. «Даугава». Выступал со статьями и публикациями в разных изданиях. Автор, составитель и соредактор ряда историко-культурных сборников.

ИГОРЬ ТРОХАЧЕВСКИЙ (1969) – прозаик, поэт. Окончил Литературный институт имени Горького (2000). Публиковался в журналах «Родник», «Даугава», в «Рижском альманахе» и др. изданиях.

ПАВЕЛ ТЮРИН (1943) – доктор психологических наук. Доцент Балтийского института психологии и менеджмента. Свыше 130 публикаций на русском, латышском, английском, польском и др. языках. Издано несколько книг по психологии творчества и психологии конфликта: «Y-design. Введение в психологию дизайнерского творчества» (2001); «Интерпретации визуальных ситуаций и метод отраженного трансформирования функциональных форм» (2009); «Психология между буквой и духом закона» (2012) и др.

ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ (1944) – поэт, эссеист. Учился в Латвийском университете, сначала на физико-математическом, затем на историческом факультете. В 1964 – 1968 гг. жил в Ленинграде. Работал в художественном музее, в газете.

В 1985 году арестован по делу о самиздате. В 1985 – 1986 годах – политзаключенный. В 1990 году реабилитирован согласно закону Латвийской республики 1990 года.

С 1987 года живет в Израиле, в Иерусалиме. Работает редактором в

иерусалимском издательстве «Филоби-блон». Публикации в журналах и альманахах: “Даугава” (Рига), “Вестник РХД” (Париж), “Огни столицы” (Иерусалим), “Иерусалимский журнал” (Иерусалим), “Христианос” (Рига), “Встречи” (Филадельфия), “Крещатик” (Москва), “Россия и мир” (Москва), “Nepocenzētie” (Рига) и др. В Риге и Иерусалиме издано семь сборников стихов: «Земное небо» (1977), «Проходя вдоль канала» (1990), «Размышления в пустом кафе» (2001) и др.

ИРИНА ЦЫГАЛЬСКАЯ (1939) – прозаик, переводчик латышской прозы, поэзии. Издано несколько сборников рассказов, книга эссе и зарисовок «Все судьбы трагические» (2009). Публикации в журналах «Даугава», «Дружба народов», в «Рижском альманахе»; переводов – также в журнале «Родник».

МАРИС ЧАКЛАЙС (1940 – 2003) – поэт, эссеист, переводчик, публицист. Окончил отделение журналистики историко-филологического факультета ЛГУ (1962). Работал в газетах, в издательстве „Liesma”, корреспондентом радио «Свобода». Издано свыше 30 книг – поэтических, в том числе для детей; публицистики, эссе, воспоминаний. Переводил И. Бобровского, Н. Хикмета, Б. Брехта, Р. М. Рильке и др. известных поэтов. Его стихи переведены примерно на 15 языков.

ИГОРЬ ШУВАЕВ (1963) – профессор, Dr. phil., член-корреспондент Латвийской АН. Издано свыше 8 книг (о философии и психоанализе), более 30 переведенных книг (Кант, Шопенгауэр, Ницше, Фрейд, Гадамер, Шмид и др.).